

К-20 р канища

ПРАВИЛА ВЕСНЫ

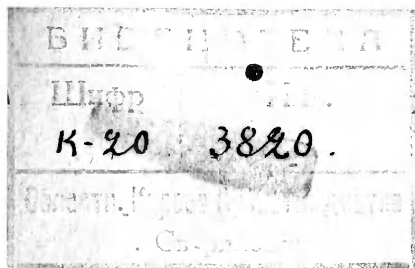
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Современная пролетарская
литература

ПЕТР КАПИЦА



ПРАВИЛА ВЕСНЫ



„К у з н и ц а“

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Ленинград 1931 Москва

ОБЛОЖКА ХУД. А. УШИНА.

**1-я типография Огиза
РСФСР им. Бухарина,
Л е н и н г р а д,
ул. Моисеенко, д. 10**

Зак. № 60.

Ленинградский Областлит № 6181.
82 × 111 — 7¼ л. Х. 23. Огиз № 1038/л.
Тираж 5000.

Чистка - Joker2156

Наш дом сер и глаза. Глаза его наполнены желтым светом. Как крепко заваренный чай свет брызжет на панель и крупноголовый булыжник.

Подножие нашего дома наполнено уютом, шаркающей солидностью. Там комоды с безделушками, бумажными цветами, пожелтевшими фотографиями. Диваны, двуспальные кровати...

Вершина дома — шумлива, горласта. От топота дрожат стекла, гудят стены. . .

У меня сейчас такое настроение, как у человека, который бухнулся в звенящую прохладную речку. . . Выскочил доловины и забрызгал. После душа и спорт-занятий всегда так бывает.

До пятого этажа 150 ступенек, десять площадок и все бегом, только гул из-под ног. Вот коридор и дверь с номером 16, где блеснуло чье-то лицо. Дверь стара, морщиниста, вверху на ней кособокая угольно-жирная надпись — «Гарбузия»; эту комнату так величают за ее величину с добрый гараж и за бузу, живущую в ней. Это та дверь, которую можно рвануть так, чтобы она грохотливо вскрикнула, открыв беззубую пасть.

Вскакиваю и сразу оглушают:

— Пролетарскому поэту сорок один с кисточкой. Мастрюля, туш!

Рявкает комнатный джаз-банд — из гитары, двух бала-лаек, гребенок, жестяной кружки, чайника и табуреток. Жалобно звякнули стекла окон. Портреты вождей испуганно колыхнулись на стенке и застыли при наступившей торжественной тишине. Длинный чубатый Чеби взбирается на стол, подтягивает электрический пузырек к потолку и, скрестив длинные ноги, голосом, подобающим старосте комнаты, торжественно начинает:

— Дорогой товарищ Гром, как ты есть парень порази-

тельной поэтической настройки и вообще... то «гарбузия», осчастливленная твоим пребыванием в ней, рассчитывает на полученный тобою гонорар и с сего времени разрешает тебе не тушить свет на тысяча и одну ночь. . .

Снова гремит раздирающий и оглушающий туш.

— Качать Грома!

— Качать. . . ешь его мухи. . .

Соображаю, что выгодней удрать. Но поздно. . . Жалобно трещит коричневая спецовка, ноги теряют опору и вместе с головой летят вверх к потолку. . .

— Поддай раз... два... еще...

В конце полета я снижаюсь на койку.

Пострадал только локоть.

— Чего вы сумашествуете?

— Притворился! От нас, брат, не скроешь.

Юрка Брасов трясет листами журнала металлистов. У меня за спиной крылья. Руки тянутся.

— Врешь... давай, я еще не видел.

— Шалишь, браток. Раз не видел — так танцуй.

Сопротивление лишне. По-козлиному отдуваю трепака. Юрка издевается.

— Что ж ты одной ногой... Двумя. Шпарь двумя!

И подпевает:

Сербияне землю пашут

Сербиянки только пляшут. . .

— Так, теперь вокруг стола, без поворотов.

— Ну тебя. . .

— Пляши!

Юрка хохочет.

— Получишь из-под стола. . . Вот сюда. Во-во и получишь.

Подчиняюсь. Вытираю брюками пол.

— Не так скоро. Надо еще пропеть по-петушиному.

Злюсь.

— Ну, можешь не давать, без тебя достану.

— А осталось только дать закурить!

Журнал хрустит в руках. Ну да, мое... Моя рота строк. Я наобум послал их в «Металлист». Выстроились и гаркают: «откалывай-ка, сердце, казачка по ребрам. . .» Ах, ты елки зеленые! Здорово получилось.

Только Домбов сует свою железную клешню.

— Молодец, Сашка! Дерзай, едрихен штрихен. Лезь с су-
конным рылом в калашный. . . Смотри и Самоха как будто
по твоим стопам прет.

Самохин, мечтательно задрав босые ноги, усиленно чир-
кает тетрадь.

— Что, Митя, вдохновение замучило или зависть разъ-
ярилась?

Юрка подкусывает, заглядывая в листки. Тот лягается,
бычится.

— Уйди к... коневой маме!

Резанул комнату зрачками, спрятал тетрадь под подушку.

— Любопытной мартышке в кинe нос оторвали.

Домбов хмурится, щурит близорукие глаза.

— Лучше б за кипятком. А ну, Шмот, фигулькин нос, до-
кажи, что первогодники проворливый народ. Слушай, Сашка,
не мешало бы колбаской вспрыснуть. А?

— Есть такое дело!

Голос Тольки преображается.

— Зав шам-базы, тряси мощной. Я за чаем, а Шмот хвост
трубой за ситным да колбасой. А ну, живее!

Шмот, как единственный первогодник в нашей комнате,
занимает почетную должность комнатного курьера. И это ему
нравится. Он неуклюж и костляв. Липо его похоже на сжатый
кулак, который показывает фитьку. Шмотова фитька называ-
ется носом поэтому немного задирается вверх.

Он усиленно ищет кепку и шмыгает фитькой. Суетится и
Юрка.

— На это дело собственноручно мобилизую себя. . . Вы-
таскивай, ребята, инструмент. Где мой большой нож?

На стол летят коробки с сахаром, звенят в кружках ложки.

Я мчусь мыться, рубашку долой, полотенце на шею. В
коридоре навстречу бренчит чайником Нина Шумова.

— Тише, расшибешь.

Ухватила за концы полотенца.

— В клуб идешь? Сегодня, говорят, хорошая жостановка.

— Что — билетом угостить хочешь?

— Один могу.

— Как это могу? Значит, суешь мне его в карман. Ви-
дишь, у меня руки заняты.

— Ну, вот еще в карман. Бери в зубы.

Хлопнула по спине точно взнузданную лошадь и помча-
лась вперед, рассыпав по лицу стриженные волосы.

Нашу «гарбузию» тишина посещает редко. Разве только в такие торжественные моменты, когда на коричневой бумаге лежат тонкие пластинки страсбургской колбасы. . . Мясистые, сочные, в белых блестках жира, взобравшись на ломоть французской булки, они сами лезут в зубы. Тогда переполнены все рты, щеки расперты, и только чавканье нарушает временное затишье. Спокойно дышат наполненные кипятком кружки.

Жевать так жевать — до седьмого пота, если не до седьмого, так хоть до пятого. Лица напоминают круглые сыры со слезой — лица в поту.

Сытость одуряет человека. Собрались было уже на отдых, но тогда заворочался беспокойный билет. Раз есть билет, значит есть возможность всем гамузом попасть на постановку.

Клуб недалеко. Шапки в нахлобучку, пальтуканы на плечи и уже гудит лестница, поскрипывают перила от неожиданных наездников, скачущих галопом, не щадя изодранные брюки. . . Наездники на поворотах спрыгивают. . . Новый скачок, и с гиком обгоняют бегущих.

У клуба яркая лампочка. Крикливая афишка. В фойе толкотно, говор, дым.

Билет переходит к Юрке, как к непревзойденному в этих делах ловкачу. Юрка быстро проходит в зал и ждет, покуда не соберется публика.

В проходе затор. Юрке страшно некогда. Он торопится выйти. Сует руки сразу двум дежурным, от этого появляется вместо одной контрамарки — пара. Таким же образом орудуют двое, потом трое. Наконец, все в зале. Я последним — наш закон «владелец собственности — да будет последним».

Пестрит зал. Лица — бесцветные пятна, залитые клубным солнцем.

Но чьи это руки машут? Ну да, мне. Нина Шумова улыбается и зовет. Спрашиваю:

— У тебя свободное место есть?

— Не веришь. . . Специально для тебя заняла.

Приходится верить — на стул брошен ее крошечный носовой платок.

Небольшая клубная сцена завешана пестро расписанным холстом. Лампочки, перемигнувшись, тухнут. Занавес нехотя сворачивается к потолку.

Чтобы заглушить лошадиный топот клубной живой газеты, аккордами бабахает рояль.

Засмотрелся. Не замечаю, что Нинкина рука на моей. Почувствовал только, когда теплые пальцы неожиданно сжали ее и запрыгали в какой-то тревоге.

Заглядываю в лицо.

— Что, понравилось?

— Да, да. Ты повернись и не бунтуй. Сиди так.

Слушаюсь и двигаюсь ближе. Чего это она так отвлекается, точно уселась на гвоздь. Фу ты — на лице слоем пудра. Бант на боку. И откуда только она выкопала такое платье, как это я сразу не заметил?

— Что, уже разонравилось?

— Интересно... Ты смотри.

— Чего это она?.. А может... Да, наверное это потому, что я здесь... Сердце по-настоящему начинает откалывать казачка — неужто я такой парень хороший?! Чорт подери, как давно я в зеркало не смотрелся...

Нина срывается, и во все свои голосовые:

— Довольно, хватит! Все это ложь, обман. Мне надоели ваши доклады, комиссии, книги...

И Нина бежит на сцену.

Так значит она живгазетчица... Вот отчего могут беситься руки и отплясывать пальцами на чужих. — Мое разыгравшееся воображение летит в воздушную яму.

В антракте преобразившаяся Нина опять на своем месте. Хохочет, показывает зубы. Не отстаю, я ведь тоже люблю и умею хохотать.

От Юрки ничего не скроется. Парочку сразу заметил. Побежал к ребятам, толкавшимся в кворилке.

— Сашка филонит с Нинкой Шумовой. Поближе подсесть надо.

— Дельно. Вот юла!

Чеби дружески нахвату по плечу так, что Юрку скрючило. Только Брасов презрительно затянулся. Огонек папиросы подвинулся ближе к губам.

— Вечно бы только трепаться. У Юрки кроме опилок наверное в башке ни-черта нет.

— Тебе сослепу так кажется, бинокль наведи.

Это самое обидное для Тольки; близорукость — его болезненное место: трогать не смей. Толька ее ненавидит, но очков упорно не носит. Близорукость — мишень подковырок, издевки. Это она безобразно заволакивает все мутью. А за на-

помянуть о ней он готов отвертеть кому угодно волосатую, ушастую голову.

— Вот клещуга, не к одному, так к другому прицепится. Давно кулаки на твою мордочку просятся.

— То-то, я смотрю — у всех нос в клюкву.

Юрка скалится, сверкая японскими глазами.

— Говорят, в меня целил, да сослепу не разобрал, другим навкасил.

Кончиком пальца он тронул Толькин затылок. Притворяясь, подпрыгнул.

— Ух елки!.. Ну и затылок! Руку ошпарить можно, как таких горячих в клуб пускают, того и гляди — пожар.

Толька свирепеет. Около челюсти сколотились злые комки мускулов. Он сгибает небольшую голову, посаженную на большое сильное тело с выпуклой грудью. Толька грозно сжимает хрустящие кулачки.

— Во ощерился, точно кобыла на овес.

Толькин кулак описывает дугу. Юрка увернулся, но не успел выпрямиться, как кто-то толкнул на Тольку. Кулак влип в шею и Юрка, опрокинув плеватьницу, растянулся на липкой грязи.

Ребята заржали:

— Идиотская сила.

В уголке бился в истерике ударник звонка. Толькино плечо грубо расталкивало собравшихся любопытных. Ворча, он пробирался в зал. Как всегда ему казалось, что те, кого скрывает туман близорукости, строят ему рожи и тихонько подхихикивают. Он щедро награждал всех невидящим презирающим взглядом. И вдруг действительно услышал, как где-то сзади прыснули, хихикнули, захохотали. Смех быстро надвинулся. Хохотали рядом за плечами. Толька остановился и оглянулся как затравленный зверь. Видел мутную враждебную стену. Какая-то рука дергала за пояс.

— Мотри, паря, привесили тебе.

На поясе болталась привешенная коробка от папирос.

Толька остервенело сорвал ее и бросил в толпившихся.

— Эй ты, осторожней!

— Сам толсторожий! — Не расслышав, рывкнул Толька и, разбрасывая попадающих на пути, выбежал на улицу, прокусив до крови губу.

Вечер ветреный.

— Спать не хочется. Не прогуляться-ли?

Нина непрочь.

Ветер сегодня хлопотлив. Он шуршит по панели бумажками, гонит их вдоль улицы, хлопочет над плохо приклеенными афишами.

Нина забегает вперед, поворачивается, подставляя под ветер спину.

— Сашка, прочти свое стихотворение, под ветер хорошо.

И она знает! Разносится все точно по радио.

Я смущаюсь, когда приходится читать свои стихи. Сваливаю стихоплетство на других.

— У меня своих нет. Я лучше прочту знакомого парня.

— Ну, ври, ври!

Стихи читаются легче за каким-нибудь движением. У меня ходят руки. Толстая, в розовой шляпке женщина проходит мимо и возмущенно стрекочет:

— Безобразники... Хоть девчонка постыдилась бы...

Подвыпивший макинтош без кепки, подпирающий стену дома, пьяно бормочет:

— Ничего, мать... Молокососам весело живется. Их время.

Мы сворачиваем к общежитию. В комнатах еще шум. В угловой комнате девчат кто-то безудержно хохочет, заглушая чей-то зазорный голос.

Ты такой большой, высокий,

Только веники ломать...

Проводил меня до дому,

Не сумел поцеловать...

Подбумкивает гитара. Нина прислушивается и улыбается.

— Слыхал?

Сжала руку и бегом к себе в комнату.

— Ты подожди... Ну, вот и сообразить не дала.

В «гарбузии» темно. В комнате гуляет ветер — шелестит книгами на столе. У открытого окна силуэт человека.

От коек сопение и теплый дух.

— Толька, ты? ... Чего пригорюнился? Или мечтаешь? ..

— О какой сволочи мечтать?

— Чего ты сегодня такой?

— Собачистый, хочешь сказать, да? Шерстью собачьей оброс. У-у, свои ребята, такая же как и ты, сволочь...

От неожиданности молчу. Что с ним?

Начинается самокритика:

— Урода нашли, обрадовались...

Через окно видна крыша противоположного дома, чернота неба, звезды... На окне стоит бутылка с водой — шмотовское орудие пытки, которым он обливает с пятого этажа прохожих. В воде дрожат тонкие блики света. Толька смотрит, проводит рукой, сжимает пальцами... Стекло тонко скрипит... Быстрый взмах — и бутылка, блеснув еще раз, летит в темноту, в ночь. Снизу долетает глухой удар и звон осколков.

Быстро закрываю окна. На белеющий асфальт выползает опасность — черный силуэт дворника.

Толька шумно раздевается.

— Я сверну кому-нибудь шею... Достучаются.



Общежитие просыпается с петухами.

Общежитейский петух ничем не отличался бы от простого петуха, если бы имел петушиное оперение, храбость и задор. Обычно это самый аккуратный, самый тихий и трусливый фабзаучник. Он ложится спать вместе с курами, а просыпается, когда по общежитию начинают бродить серые тени. Тогда хрустит выключатель... Забьется в стеклянном плену лучистый гость и слышится первое «кукареку».

— А ну, вставать!.. Вставать!..

Как по сигналу «петухи» голоса в других комнатах.

— Проспали, вставай!

Дергают за волосы, стаскивают одеяла. Брызгают холодной водой.

Скрипят койки. Топают босоногие. Суета.

— Кто сапоги подменил? Два левых одел...

— Где же это мой ремень?

Из комнаты девчат несется то же самое:

— Сонька, это ты сбросила чулки с батареи?

— Муська, твоя очередь за кипятком!

— Девочки, а где мое платье?

В ванной у кранов очередь, мыльные брызги; струйки воды ползут за шиворот, текут под ноги, взлетают на стену.

— Быстрей, чего ты как утка полощешься.

— Куда без очереди?!

— Чего тарачишь глазища, не сожрешь, подавишься.

— Ребята, смотри, какое чучело на ходу спит.

— Спи-ит!

Передразнивает хриплый заспанный голос.

В комнатах обжигаются кипятком. Сухой ситный с трудом пробирается к желудку.

— Пей скорей... Пошли.

— А ну, братва, на трамвай!..

Гудит и охает лестница. По ступеням пулеметной пальбой дробят каблуки... Бабахает дверь.

— Давай, ребята. Живей давай!

Шапки в нахлобучку, спецовку на плечи и айда стегать к трамваю.

Шипят по рельсам, высекают искры дугой тяжелые трамваи, облепленные гроздьями людей.

Усы вокзальных часов дрожат, куда-то торопятся. Еще двадцать минут и они, вздрогнув, укажут время для гудков.

Трамвайные подножки берутся с бою, ловкостью острых плеч, локтей, силой глоток...

— Подвиньтесь, дайте хоть ногу поставить.

— Куда с передней... Нельзя.

Гарбузовцы — лучшие трамвайные наездники. Если не попасть внутрь, то каждая трамвайная «колбаса», каждый выступ, крючок, за который можно уцепиться, — довезут до места. Ни одна нагло позванивающая девятка не уйдет в туманное утро, не захватив с собой «гарбузовцев». «Гарбузовцы» могут даже меж двух вагонов, на буферах или оградительной сетке. Хлещет дикий ветер по заспанным лицам, врывается в рукава, нахлобучивает и срывает кепки. Нужно от него кушаться, жмуриться, потирать руки.

Трамвай несется, рокошет, качаясь. Взметывает трамвайную вьюгу. Мимо — улицы, переулки, дома, чугунные столбы. У другого вокзала, сокращая путь, соскакиваем на ходу. С главного пути осаживают вереницу вагонов в тупик... Значит, нужно вскочить на подножку... Главное — рационализация.

У депо, точно стадо черных тараканов, лоснятся паровозы. Хрустят колесами по рельсам, пыhtят и выпускают ушща дыма.

За депо у разъезда маневровый развивает скорость... Здесь спецовки вздуваются парусами и летят вместе с нами

с подножек. Сообщенная инерцией скорость пронесит через переезд, мимо шоколадной фабрики, хлебозавода к проходной фабзавуча.

Фабзавуч в стороне от главных паровозо-ремонтных мастерских.

Фабзавуч — маленький заводик или большая модель завода-гиганта. Здание мастерских уперлось в землю буквой П. Точно кто-то сложил из кирпича свой инициал, поставил точкой проходную и огородил высокой стеной забора.

Проскакиваем проходную. Цеха разногласия галдят. Опустили на десять минут. Рассыпаемся по цехам.

У жестяницей Жоржка. Захлопывает потрепанный отсекровский портфелишко и сует Зинке — «агитпопу жестяному» — пачку бумаг.

— Что-то часто опаздываете, товарищ Гром! Смотри, бюро проверит.

Зинка, скосив как-то на бок рот, прибавляет:

— В поэзию вдарился. Чипчилигент, а они с девяти начинают.

И захихикала, как хихикают люди, удивляющиеся своему остроумию.

В литейной земляной пол весь изрыт. Ребята поливают формовочную землю, собирают ее в рыхлые горы.

— Э-э, Гром, слышал, как ты прогремел. Давай, брат, лапу!

Шагает через голубовато-серую грудку отливок черный до-нельзя Ходырь. Ходырь — штатный трепло. Врет никак не меньше, чем на сто пятьдесят процентов.

— Ходят слухи, что в Госцирке хотят выпустить твоё полное собрание сочинений... Честное слово.

Рыжий Тюляляй гоолажит на весь цех:

— Поэзия шагает! Разойдись!

— Чего чемодан разинул? — охлаждает его мастер.

Мастер — старый моряк, у него крупное поношенное лицо, щуплое тело и здоровенные ручки.

— Ты, Гоом, беги сегодня посоезней работу. А то от безделья и вправду по стихам пойдешь.

От верстаков кто-то по-заячьи верещит.

— Поэзия не картошка с хвостиком, не съедобная штука.



Формую громадный шкив. Формовочная земля тепла и пахнет баней. В грязных руках стальной карасик. Он режет послушную землю, приглаживает на изгибах формы.

Под потолком, как живые, ползут, содрогаясь гудят объемистые трубы вентиляции. Через стенку они уползают в кузницу. В кузнице бухает приводной молот, звенят наковальни. Оттуда прибегает старый весельчак — кузнечный мастер Палыч. То закурит, то просто пройдет по литейке с прибаутками, выкрутасами. Его красное обожженное лицо сияет, как накаленная «под вишню» болванка. С Акимом — мастером нашим — они большие друзья. Оба же слывут в фабзавуче анархистами. Порядок, листки задания — их общие враги. Палыч усаживается на корточки.

— Ну, «гарбузия», как дела? Землю мучаешь?

— Больше она меня.

— Где ж это вы Домбова так раскалили?.. Сегодня чуть всю кузницу не разворотил... Рукавицы к шкафу прибили, так он с дверцами выдрал. Иванова подмял, да в нос кулачище тыкать... Вы уговорите его, предупредите, а то с меня спрашивают... На президиум попадет.

Вентиляция загудела, затараторила. В кузнице галдеж.

— Опять чего-то натворили.

Палыч трусцой за дверь.

В литейной появляется Юрка. У него зажат в клещах синий от закала кусок стали. Захлебываясь, сообщает:

— Гром, Тольку к завмасту послали... Подрался.

— Как?.. С кем?..

Юрки уже нет — скрылся. Нельзя же ему стоять на месте, когда такие события.

Быстро покрываю верхней опокой форму и мчусь к конторе завмаста. Нужно выручать Тольку.

У угольной ямы опять Юрка навстречу.

— Знаешь... Толька влопался. Он не к завмасту, а домой попер... Вот балда, струсил.

В изумлении смотрю на Юрку, а тот на движущегося заводского сторожа. Снежная борода сторожа становится пушистой и задирается вверх, когда он подходит к заводскому колоколу и важно бьет «обед».

Из классов вырвались первогодники. Давят, обгоняют друг друга. Им некогда — нужно занять место в столовой.

К нам мчится Шмот.

— Где Чеби? Куда он с талонами делся?

У Шмота нетерпение, голодный блеск в глазах. Ведь раньше он получал всегда первый обед.

За ним прибегает Самохин, Грицка.

— Куда Чеби пропал? .. Нет Чеби.

Ищем Чеби. Обошли все закоулки, уборные — осталась одна слесарка. Ползем туда. Чеби у своих тисков копается в рабочем ящике. Увидев нас, шмыгнул за громадное точило.

— Ты что, чучело, прячешься? Купил талоны обеденные?

Чеби с виноватой физиономией вылезает. Его руки начинают шмыгать по карманам, потом обвисают.

— Я деньги посеял... Видно, когда на трамвае ехали.

— А как же обед?

У Шмота от жалости к горячему вкусному потерянному обеду даже слезы на глазах. В его пятнадцать лет это трудно перенести.

— Есть здорово хочется... — Чмокает он языком.

Чеби мрачно цедит:

— В местком пойду. Перед получкой дадут трояк в долг.

Через десять минут мы в столовой. Обед вкусен и мал. Как это только люди умеют терять аппетит? Наши желудки так разъярились, что готовы проглотить втрое больше. Вздыхаем и встаем из-за стола.

От нечего делать тащусь в токарку. А зачем мне туда? Что позабыл там? Поворачивайся, Гром, назад... Ах, вот ты зачем... Ну, смотри, вот она.

Нина, сдвинув на затылок платок, надписывает фамилии на газетных листках и распахивает их подходящим ребятам. Сую руку.

— Можно получить?

— Тебе?

Она сперва растерянно, потом с улыбкой:

— Нос раньше вымой.

Мне больше сказать нечего.

Вожу пальцем по носу. На пальце сажа. Поворачиваюсь идти.

— Гром... Громчик, подожди. Возьми мою газету. Вечером отдашь.

Газета у меня, а ведь я не за газетой пришел.



Рабочий день бьется в сетке расписаний. У третьего года шесть часов практики — два теории.

В зале галдеж. Трещат жестяницы с токарихами. Хва-

стают силой верзилы кузнецы перед такими же увальнями литейщиками. Возятся слесаря, трогая спокойных, читающих книги, столяров.

От сильного напряжения звонок не звонит, а хрипит. После него выползают из своей берлоги старые солидные педагоги. Идут медленно в развалку... Грузно ступают, шлепая подошвой... А помоложе, бренча номерками ключей, обгоняют их.

Шум расплзается по классам. Педагоги успокаивают, шипят... Кажется, что в каждом классе фырчит перед неожиданным врагом выгнувшийся кот.

У литейщиков спешдело.

Педагог ни молод, ни стар, что-то среднее. Он высок, неуклюж, ступает как слон, изобретательски рассеян. Он и в самом деле «Эдисон». У него много мелких изобретений. Даже стреляющая система пароотопления, при которой дрожа потеют, — тоже его изобретение.

Но в педагогике изобретений у него нет. На партах возня. Тюляляй лупит книжкой Ходыря, а тот верещит каким-то животным. Киванов и Виванов (двум Ивановым для опознания прибавлена к фамилии буква от имени) роются в пачке бумаги, лежащей на столе, отыскивая листки в клетку для игры в крестики. Остальные — кто во что горазд. Тюрентий — это прозвище педагога — шипит, оскалившись, стучит ладонью о стол.

— Ш-ш-ш... Тиш-ше! Сядьте, пожалуйста, успокойтесь. Это не действует. Шум.

У него все же есть и здесь маленькое изобретение. Тюрентий осторожно подходит к двери, выглядывает в зал и делает испуганное лицо.

— Ш-ш... Идет.

Это обозначает, что появился на горизонте зав. учебной частью. Водворяется условная тишина.

Тюрентий спрашивает пройденное. Вызывает по списку. Вызванный ломается, как красная девица.

— Не понял.

— Не успели выучить?

— Занят был.

— Ничего, ничего, ну хоть то, что знаете.

Нехотя встает ученик из-за парты и ворча тянется к доске.

— Рабочему теории не надо... Это для истребителей.

Начинает чертить детали машин. Чертит грязно, непонятно.

А Тюрентий, точно забыл обо всем, смотрит в окно задумчиво и напряженно.

В классе кто поживей играет в щелчки или рассказывает анекдот. Сонные приспособились на «камчатке» и дремлют.

У меня на таком уроке гостит книжка.

Тюрентий, вдруг до чего-то додумавшись, скрывается с места... Шаг к доске и начинает какой-то замысловатый подсчет.

Что-то гениальное колышется в его бровях.

— Молчок. Тюрентий изобретает.

Отвечавший у доски тихонько смывается. В такой момент Тюрентия можно заговорить.

— Товарищ Тюрен, что-нибудь новенькое изобрели?

Ходырь тянет подхалимским голоском. Тот, не отрываясь, бормочет:

— Да, да... Здесь интересное положение...

Потом отходит от доски и как художник щурится на цифры и заводит шарманку о своих изобретениях. Пока от натуги не захрипит звонок.



— Кто у вас?

— Дыр-доска! Любовь в лесу — живот на носу.

— А у нас бум-рататуй. Урок «трепалогии». Не то что у вас — технолог, топтатель дорог, читатель вывесок.

— Дай слесареньшу, чего он разоряется.

— А уши у рояля видал?

— Плюй, плюй, а то в левый глаз.



Второй урок — обществоведение.

Голова обществоведа и рыжий третий портфель туго набиты газетными статьями, брошюрами, книгами. Он вечно куда-то торопится. Поэтому всегда в боевом снаряжении. Шарф, пальто, шляпу снимает в классе, чтобы за пять минут до звонка одеть. После разоблачения руки становятся беспокойными, голос агитаторским. Увлекается, спорит, доказывает. У обществоведа на подвижном лице застывшие, неподвижные глаза. Фабзавучник, не знающий урока, — плавает, захлебывается в этих глазах, ищет берега. Глаз обществоведа боятся, поэтому в его классе тише, чем у других.

Обществовед вытаскивает из портфеля книги крошечный блокнот и шлепает ими о стол.

— Так. Ну, товарищи, есть вопросы? Чем эта неделя смущает?

— Долго тянется очень, — жалуется Ходырь.

— Это к обществуведению не относится.

И хоть бы пошутил, а то нет.

— Значит двигаемся по курсу. Дежурным раздать книги. Откройте на девяносто третьей странице.

Из соседнего класса слышатся взрывы хохота, там определенно физики. Урок дяди Мити — фокусника. Многим хочется убежать от скучных «феодалов» туда, к «фокуснику». Тот сейчас с ужимками, подмигиванием интересное что-то рассказывает. Ходит по классу, часто выглядывает за дверь. За дверью иногда опасность бродит — грозный завуч.

У «фокусника» с фабзайцем бессловесная договоренность — не подводить друг друга. Если не хочется слушать физику, а это бывает чаще всего, так он с удовольствием расскажет интересную историю или десятый раз повторит опыты с гремучим газом.

Предмет у «фокусника» знать не важно. Важен документ, исписанная тетрадка. Если с книжки ловко скатано — значит хорошо. Это у него называется Дальтон-планом.

Но вот шум за стеной оборвался. Значит где-то маячит опасность. «Фокусник» вероятно уже меняет лицо, поправляет очки, подходит к столу и серьезным рубящим тоном объясняет физическое явление, с опаской поглядывая на дверь.

А ребята паиньками усиленно ломают карандаши на тетрадных листах, списывая дословно из физики Цингера.

У нас же тишина. Эта девяностая страница. Хищные феодалы. Нужно прочесть и записать вывод.

Даже оглянуться опасно, не то чтобы навернуть кому-нибудь по «кумполу» книжкой или засмеяться, обязательно встретишь круглые спокойные глаза, от которых виски потеют и краска бьет в лицо.

Поэтому обществоведение урок не особенно любимый, с нетерпением ждут звонка, после которого можно сорваться и кучей слететь по лестнице. А там, давя тощих слесаришек, гамузом вырваться из проходной.



Вечер.

Буду писать стихи.

Здорово получится, если в нашем общежитейском гвалте талант откроется и будет он называться Громом.

За стенкой комната «ярунков». Ярунок — это безобидный столярный инструмент для измерения угла, простая тупая дөрөвөшкө. У них кто-то тренькает на балалайке, кто-то орет частушки, его перебивает волчьим завыванием другой.

Вытаскиваю свою папку. У меня как у портнихи — бумажные лоскутки, вырезки.

Сегодня буду писать о девчонке, которая может смеяться, может... Все может.

Карандаш в работе. Но что ж это так нескладно получается, точно в романах, которые читает наш педагог «Дыр-доска». Рву листки. Вокруг меня бумажная пена. Зарываюсь в ней, комкаю...

Чего это орут там «ярунки». Хотя бы струны этой тринкалки треснули. Как в прибор, увеличивается и растет бумажная пена.

Но кто это дышит на мою голову? Оглядываюсь...

За моей спиной баррикада из ребят. До этого они отдыхали на койках, а теперь заливаются в радостном ржании. Ловко подкрались.

— Ты пиши, мы мешать не будем. Посмотрим только.

Для угрозы вытаскиваю пузырек чернил. Они знают, чем это пахнет. Не раз уходили размалеванными. Но сегодня их не проймешь. Они низко нагибаются, дышат в шею, в плечи, голову...

Как тут писать? Даю Шмоту щелчок (он за всех отдувается) и складываю листки. Ребятам больше заняться нечем, по одному улетучиваются. Остается Толька. Он лежит лицом в подушку. Подушка от пота и грязи пятниста, как леопард.

Над Толькиной койкой надо бы прибить надпись: — Обращаться осторожно. И если это исполнять, он будет славным парнем. Душа-парень. Смеяться и врать тоже может без передышки.

— Только, что там у вас в мастерской вышло?

Он отрывает от подушки лицо и смотрит куда-то в сторону. Он спокоен.

— Ничего... В морду дал, чтоб не приставали.

— Почему ты к завмасту не пошел? За это больше влепят.

— Перед кем я оправдываться буду... Сами придут, если захотят.

Он уже зло смотрит на меня, потом резко поворачивается спиной. «Ярунки» успокоились. За стеной тихо. Зато в открытое окно со двора врывается бумканье гитар, хохот и визг девчат.

Сесть что-ли опять писать. Нет, не пойдет. Там во дворе наверное... А впрочем, какое мне дело, что где-то хохочет и бесится Нина. Но для чего я беру кепку? Почему ноги сами торопятся спуститься вниз, во двор?

Двор наш как дно высохшего озера, над которым нависли четыре серых глазастых стены. Посредине столб с фонарем. В одном углу двора ребята ходят в обхватку, у них гитара, песни. В противоположном углу играют в «два мало — три много».

У выхода, прислонившись к стене стоит Нина. Перед нею двойка ребят. Они состязаются в кривлянии друг перед другом. Нина смеется.

Умышленно не замечаю этого, проскакиваю к играющим, но там все заняты — я лишний.

Бреду к калитке. У меня обида. А на кого? Кто разберется, на кого здесь нужно обижаться.

Наша улица темна и куца. Подпираю угол дома. По улице торопливо пробегают прохожие. Какой я балда. Чего легче было бы просто подойти третьим к Нинке. Восемнадцать лет, а такой тюпа. Теперь неудобно, ведь не заметил...

Вдруг чья-то рука вскакивает под кепку, сжимает метелку волос. Я узнаю ее. Ждал и был уверен, что так случится.

— Ты что фасонишься?

Голова моя послушно мотается под сильными пальцами, в которых скрипят волосы.

— В следующий раз не проходи мимо, задрав нос.

Я не сержусь. Рад, здорово рад даже, что попало.

Локоть к локтю, пальцы между пальцев. У ней левая рука, у меня правая, ее сердце бьется рядом. Итти тесно, но лучше этой тесноты не придумаешь... Так можно ходить без конца.

Проходим по трамвайной линии. У остановки торчат перовогонники. У них состязания чемпионов от трамвайной «колбасы».

Двойка из них садится на «колбасу» встречных трамваев и уезжает. Остальные терпеливо ждут того, кто раньше приедет с другой стороны. Чтоб так приехать, чемпион должен сменить десяток трамваев. Это — победитель. И так по очереди.

Нина подбегает к ним, заглядывает под кепи, спрашивает фамилии, читает наскоро испеченные нотаии. Первогодники отругиваются, увиливают, разбегаются, чтобы снова собраться и продолжать состязания.

Нина возвращается с видом победителя. Опять рука в руку. Так мы можем исколесить наш квартал сотни раз. Слов и смеху хватит.

Только разве можно «гарбузовцу» куда-нибудь незаметно скрыться, разве можно таким необычным делом заниматься — ходить в одиночку да с девчонкой. По нашим следам тайная разведка. «Шпики» крадутся, прячутся за углами; но не выдерживают, у ворот окружают толпой и тащат домой.

Хороший сегодня вечер.



Когда в кармане, в тумбочках, в общих шкафчиках пусто — это значит «колун».

«Колун» — это такое время, когда общежитейцы больше всего изобретают, когда все таланты переключаются в одно искусство — искусство добыть жратву.

Руководство и учитель в этом деле — старый анекдот о смышленном солдате, сварившем из железного колуна славную похлебку.

Обычно над общежитием «колун» нависает за два, за три дня до получки. Но в этот месяц над «гарбузией» он грозно повис за десять дней.

Когда в шкафчике зияет неприятная пустота, когда желудок подымает бузу, поневоле станешь изобретателем. Но что выдумаешь, если все способы использованы, устарели?

Юрка — непревзойденный талант и в этих делах. Он в первый же день обшарил все карманы, существующие в «гарбузии». В результате появилось пять медных монет. Пять темных кружков, на которые не захочет сменяться ни одна порция обеда. И все же «гарбузия» обедала.

Юрка пошел по цехам, с беспечностью богача позванивающего монетами. Так он обошел работающих ребят, каждому шепча на ухо:

— Курить захотелось... На папиросы только копейки не хватает.

При этом тряс карман.

— Будь друг — добавь!

К обеду во всех его карманах трезвонила медь.

Ужин добыт таким же способом. Шмоту «нехватало» копейки на письмо.

Следующий день беспощаден. Откуда-то все знают, что в «гарбузии» «колун», что гарбузовцев надо опасаться.

Обеденный перерыв тосклив, как осеннее хлюпание. Тоску желудка забиваем картинками и рассказами журналов. Вся «гарбузия», мрачно насупившись, сидит в красном уголке под хрюкающим и свистящим радио.

О жратве молчок.



Вечер.

Тут бы греметь комнатному оркестру, звучать речами, нужно бы качать Грицку, пировать!

Грицке к концу дня мастер объявил:

— Ну, белобрысый, с завтрашнего дня ты работаешь за поммастера. На совещании выдвинули. Подымай ноздри.

Грицка лучший ученик слесарки. Герой дня.

А в «гарбузии» точно покойник — скука, тишина.

Те, кто посмётливей, легли спать — «А то еще ужинать захочется».

Остальные уткнулись в книги. Время тянется как бесконечный ремень.

Еще такой день и такая же ночь.

Утром мы — «гарбузия» — сдаемся. «Колун» одолел.

Юрка вытаскивает свою драгоценность — готовальню в бархатном футляре. Гладит ее, вздыхает и кладет на стол. Толькина старая кожанка взмахнула, как подстреленная, рукавами, и, скорчившись, легла рядом. К ним присоединилась разноцветная горка моих книг и Грицкин французский ключ.

— Кто загонит?

— Иду. У нас мастер заболел, — вызывается Самохин, опустив глаза в пол.

— Есть, только к обеду с монетой на заводе будь. А то совсем отощам.

Шмот мечтательно:

— Как это революционеры голодовку объявляют?.. Вот бы научиться.



Толкучка жадна.

Самохин притащил семь измятых рублевков. Отдал, боясь посмотреть в глаза

— Больше не дают, а книги принес обратно.

Чеби изменяет законам «гарбузии».

— Маловато, нехватит на коллективную шамовку. Придется раздавать каждому. Пусть экономит.

Рублевки разлетаются по ладоням.

Каждый зажал в руке семидневную жизнь — трепаную бумажку. Семь дней каждый сам себе хозяин.



Общежитие.

Из кухни раздражающий запах. Запах поджаристого, хрустящего картофеля. Не вытерпел, заглядываю. На кухне девчата, среди них трется лисой Юрка. У стреляющей и шипящей сковороды Нина. Наплывает вкусная слюна. Глотаю.

— Чего соблазняетесь? Дверь бы закрыли.

Громадным ножом Нина ворошит груды золотистых ломтиков картофеля.

— Хочешь, угостим?

Желудок радостно сжимается... А в голове дурость.

— Я... спасибо... ужинал.

Сразу же готов себя отволтузить... А тут еще Юрка подкладывает под плиту дрова и поддусывает:

— Он малоешка... И вкуса не понимает. Можно вместо него?

— Видишь, зам есть.

Нина говорит с усмешкой.

— Опасный заместитель, да ладно. Только не думай, что у нас кормят даром. Тащи сковороду.

Мимо меня торжественно проплывает благоухающая сковорода и счастливая Юркина рожа.

От злости готов схватить сам себя за ноги и разбить о плиту вдребезги. Так прошлянил!..

В «гарбузии» веселые разговоры. Вернулись охотники за хлебом. У них приключение в столовой.

Чеби, Шмот и Грица берут на троих одно второе. В ожидании жадно пожирают хлеб. Вдруг Чеби замечает дичь — нетронутое второе, покинутое кем-то брезгливым из-за бесплатного приложения — зажаренной мухи. Вытащенная из соуса муха, печально сложив крылышки, отдыхает на краю та-

рески рядом с котлетой. Незаметно второе подъезжает к Чеби. Он ковыряет его вилкой, ворчит и с возмущенным видом летит к заву столовой.

— Что же это вы мухами кормите!

Ему обменивают блюдо с мухой на горячую баранину в соусе. На троих двух блюд мало. Пришлось собрать объедки, утопить в соусе пару живых мух и Грицке нести на обмен. Предприятие оказалось выгодным. Заведующий менял, с тоской поглядывая на жалобную книгу.

— Хорошо сделали... Сознательные.

Как всегда, ворчит Толька.

— А ты бы что придумал? У нас может быть все с продолжением. Может с полочки явимся к заву — так, мол, и так, в «колун» опутали вас и выложим монету за ужин и хлеб.

При этом Чеби вытаскивает здоровый сверток бутербродов, изготовленных из хлеба и горчицы.

Сверток отдается на растерзание честных голодающих, Тольке и мне.

Бутерброды выходят из строя.

Является Юрка со сверкающими от жира губами. Подмигивает мне.

— Идем, Гром.

— Куда?

— Идем, выгодно будет. Они знают, что ты ломаешься, а жрешь больше меня.

— Ты рассказал?

У меня хрустят кулаки.

— Может и я. Да не бухти. Шамовка у них...

Юрка обсасывает грязные пальцы. Раз такие пальцы лижет, значит вкусно. Соблазняюсь.

В комнате девчат больничная гигиена. Над койками коврики. Одежда в чехлах. На столе голубая клеенка, графин с водой, вазочка цветов.

Сразу все пять хозяек начинают угощать...

Лопаются под ножом пухлые вареные сосиски, разбрызгивая сок. Подъезжает тарелка с самым поджаристым картофелем. Напротив торчат пирамиды из хлебных и булочных тонко нарезанных ломтей. В кружке молоко. Оно колышется и точно подмигивает:

— А ну...

От умиления потираю руки. Блюда все прибывают. Зубы начинают яростно работать. Хозяйки угощают наперебой и

когда все истреблено, у них брызгами вырывается смех. Тонкий издевающийся девчоночий хохот.

Юрка от гогота свалился со стула, скорчился и как индюк — гыр-гыр-гыр.

По обжорству рекорд побит мной. Краснеть поздно. Кровь сама бьет в виски и шею.

— Как это не догадался... Столько сожрать... Вот лошадь!

Девчата, замученные собственным хохотом, падают на койки.

— Не хочу... Ужинал...

— Бедняга, мало есть не может. — И не могут удержаться. Юрка добавляет.

— Фунта мало — пяти не хватает.

Хлопаю глазами. Мне жарко.

— Вот так подловили... Теперь засмеют.

Оборачиваюсь к двери... Выжидаю момент... Срываюсь и ходу.

За спиной взвизгивают от хохота.

В «гарбузии» ни слова. Беру книгу — не читается, строчки прыгают и хохочут. Ребята хитро поглядывают. Разве тут выдержишь? Рассказываю. Слушатели громко глотают слюну.

— Везет дураку.

Но это идея. В общежитии пять комнат девчат. Может этот способ подойдет, тогда завтра можно не обедать.

Открывается дискуссия. Обсуждается план завтрашних работ.

Стук в двери.

— Гром, выйди.

За дверью Нина в зеленой шапочке и пальто.

— Ты не сердись? Нет. Дома не сидится. У меня есть талоны в кино. На последний сеанс успеем.

— Знаешь... не хочется.

— Опять не хочется. Я знаю о вашем «колуне». У меня деньги есть.

— Ну, тогда хочется.

Кино.

Сидим на балконе у стенки. Над головой сквозь темноту прямо на экран летит и ширится голубая, вздрагивающая дорога.

Оттого, что в зале темно, оттого, что все глаза жадно поглощают экранную жизнь, руки — мои руки вдруг стано-

вятся капризными и нахальными. То им надо узнать теплоту Нининых рук, то они лезут в ее рукав, в карманы...

Нина спокойно, но сильно отбивает атаку. Достается здорово.

В антрактах видно, что кисти рук превратились в вареных раков. Успокаивает их изолятор. Нина сажает правую руку в карман и держит своей левой. Заключение неплохое. Цепкий страж еще лучше.

Нина отрывает глаза от экрана и шепотом:

— Чего это ты вдруг... То таким ураганом — влетит в читалку, уставится сычем в газету и хоть бы на кого взглянул.

— Откуда я знал, что кроме газеты мне на тебя можно уставиться?

Она сердито отворачивается. А бедный заключенный кулак страдает из-за болтливости языка. Его тискают, щиплют.

Из духоты кино нас выносит поток зрителей. На улицах тихо, только кое-где звенят трамваи.

Наш дом ослеп. В его бесчисленных глазах темнота, только где-то на пятом ночную синь сверлит мутножелтое бельмо. На лестнице грузная темнота. Кажется, что лестница хитрит, притворяется спокойной, что она лишь для того скорчилась в складки ступенек, чтобы неожиданно разом выпрямиться и взлететь к звездам, оставив нас в коробках этажей.

Но нас не проведешь. Мы остаемся дежурить на верхней площадке. Хотя я тоже хитрю. Просто нам не спится. Хочется поболтать, постоять друг против друга.

Стоим тесно, точно прижались. Грудь с грудью, лицо в лицо. Удивляемся тому, что в нас таится столько слов. Молчим. И молчать хорошо. Мои руки спать начинают буйствовать. Нинкины не сдают.

Война рук.

От возни Нина заглушенно взвизгивает, смеется... От промаха ее лицо летит в мое. Она падает на меня. Можно задержать, предотвратить крушение. Но нет. Магнит молодости действует с невероятной силой... Губы врезаются в губы и застывают. Потом как бы испугавшись этой магнитной силы, Нина быстро отрывается и бегом к себе в комнату.

«Гарбузия» сопит, бредит, скрипит зубами, ворочается. Ложусь на выгнувшуюся верблюдом койку. Губы горят, точно с них кожу сорвали. Сегодня они узнали, какими сочными и злыми могут быть губы девочки.

Последние три дня «колоуна». Только три дня разбивают то, что создалось за два года.

Откуда это такая злоба, раздражительность. Хочется огрызаться, бить, кромсать. Больше всего достается Чеби: — Голодай из-за этой вороны.

Чеби хмурится, оскалившись — сует под нос кулаки. А раз кулак под носом — значит быть драке.

Драки вспыхивают, как порох. Разнимающие и те стараются влепить кому-нибудь затрещину. От этого «гарбузия» пустеет.

Наши хождения табуном кончились. Каждый сам себе добывает шамовку. У каждого вдруг появились свои личные друзья. Свои интересы. В «гарбузии» стараемся не встречаться. Бродим по чужим комнатам.

Мир стал неуютным и злым.

Эти три дня прячусь от Нины. Бесцельно болтаюсь по улицам. Не раздеваясь, засыпаю, уткнувшись лицом в подушку.



Получка — день обжорки. В фабзавуче праздник.

С утра в цехах лихорадка: первогодники поочередно выбегают посмотреть на проходную, которая пропустит сумку с деньгами. Второгодники бегают в местком.

Небольшой, толстенный, как обрубок, предместкома, жестяник Лешка, поминутно звонит по телефону.

— Центральная касса? Центральная, кассир вышел? Что? Что? Уже идет? Идет, ребята.

Толпа сборщиков членских взносов быстро расхватывает списки и немедля разбегается по цехам сообщить радостную весть.

— Ребята, кому должен, всем прощаю.

— Кто на уголок? Сюда...

— А бумажки-то новенькие, двадцатипятирублевенькие.

— Старо. Мне червончики подавай, чтоб хрустели да в дырку не проваливались.

— Гуляй ты, новая деревня...

Напряжение увеличивается. Даже солидный третий год — чернорабочие, кочегары — начинают поглядывать на проходную.

— И-де-ет!

— С сумкой и охранником милашка вкалывает.

Это пролетает по всем мастерским и классам.

Новая забота.

— Чья очередь первым к кассиру?

В литейку пришла курьерша.

— Литейщики, получать карбованцы.

Радостный рев. Инструмент в сторону. Мыться некогда. Коричневые спецовки, вырвавшись из узкой двери, галопом мчатся в спортзал. В зале из столов замкнутый круг. В кругу кассир и вереница сборщиков.

В цехах нетерпение.

— Что же это литейщики так долго получают?

Слесаря бунтуют. Пробуют пробраться в спортзал, но зоркие мастера ловят и беспощадно записывают в последнюю очередь.

В столовой обжорка. Баррикады из грязных тарелок, стаканов, вилок, ложек. . .

Серебро моих карманов воинственно звенит. Я один из самоотверженных героев обжорки. Под боевое чавканье увеличиваю баррикады. Прибывают новые силы. . .

Шмот, точно разведчик дикой дивизии, зажав в зубах громадный бутерброд с икрой, тащит в руках две тарелки клюквенной крови, залитой молоком. Под мышками пара мучных снарядов — булки. Он двигается на меня, складывает все и рапортует:

— Гром, что это Чеби деньги не берет? Говорит — катись. . . Возьми хоть ты, а то в два счета проем.

От денег отмахиваюсь. Иду в слесарку: Юрке все известно.

— Чеби не берет — загнулся. . . Самохин не будет отдавать монету, хочет самостоятельно. Только не подпускает близко. Ощерился и злится. Раз они, так и я не отдам. . . Жрать нечего будет, а не поклонюсь таким идиотам.

Хочу выругать, а он уже улетел — занят здорово.

Значит полный развал «гарбузии».



«Гарбузия».

Почему нас еще зовут «гарбузией»? Чем не «ягрунки»? Теперь у каждого своя кружка, свой хлеб и жестянка сахару. Свои книги, койка, сундучек. Как у всего общежития. Звонкое слово «гарбузия» надо зачеркнуть, а на двери поставить мертвую цифру — комната № 16. Тогда — кругом шестнадцать.

Одна рука заблудилась в зарослях волос, дергает их. Мнет. Другая ломает карандаши на истерзанных листах бумаги.

От всего «гарбузовского» осталось только это. Осыпаю листы россыпью букв, чиркаю, мучаюсь, собирая их в колонны. Рядом сидит Шмот и мастерит из картошки, соли и хлеба бутерброды. Грица в своем углу разучивает стойки на руках. Пыхтит, падает, гремя каблуками о пол.

У окна Самохин, тренькая на балалайке, смотрит в песельник и подвывает:

— Бродяга, судьбу проклиная...

Только, задрав ноги на спинку койки, перебивает бычьим ревом:

— Я бранду себе достану,
Чертенят волохатъ стану,
Почему нет водки на луне...

И рвет аккордами струны у своей старой дребезжащей гитары.

Как тут сосредоточишься?

...Навстречу родимая ма-а...

Бух. Грицкины ноги.
О-го-го-га-а!

...Рысаков перегоняю,
Я трамваи догоняю...

Задыхаюсь от злости. Я им покажу. Хватаю книгу и громко декламирую.

— Однажды! лебедь! рак! да щука!
— Ой здравствуй, ой здравствуй...
— Если рожа не побита,
Не похож ты на бандита...
— Го-го! Го-го-го...

Шмот от удивления открывает рот. А те усиливают голоса. Струны готовы лопнуть. Я уже рывкаю.

— А! возу! все! нет! ходу!..
— Твой-и-и бра-а-атец...
...Пусть она ряба, горбата,
Но червонцами богата...

Шмот начинает в такт чавкать и мычать. Грица катается по койке, изнемогая от гогота. Чеби бьет табуреткой о пол.

Наши соседи «ярунки» сначала злобно стучат в стенку,

а потом решают поддержать. У них начинается такой же тарарам.

От шума можно обалдеть.

Швыряю книгу. Шапку, тужурку в руки и бегом за дверь. В комнате зверинец.

Теперь это каждый вечер. Досаждаем друг другу чем можем. Стоит сесть кому-нибудь за книгу или поднять над тетрадкой карандаш, сразу же все остальные хватают инквизиторские инструменты, открывают глотки и пошло.

Направляюсь к девчатам. В Нининой комнате пусто. На столе записка:

«Девчата! Пейте чай без меня. Булки и масло купила. Ищите в шкафчике. Буду в клубе. Приду поздно.

Нина».

Значит и тут что-то вроде бывшей «гарбузии». Интересно бы узнать. Рядом в комнате музыка и танцы. Заглядываю. Незнакомые парни топают и вертятся с нашими девчатами. Почему это девченки своих не пригласят? Хуже, что ли, тех? Смотреть скучно. Иду на лестницу. Ноги еле двигаются, а по пятам томительная скука.



Спортзал.

Пол натерт воском, блестит как зеркало. У баскетбольной сетки возятся с мячом ребята. Мягко шлепают прилипающими к полу босыми ступнями.

Надутый «до звону» мяч прыгает по рукам, летает под толком и хлопается в щит.

— Гром! Небесная тварь! Что так долго не приходил? Тебя с первой команды выставить хотели.

— «Гарбузия» единогласно явилась... Чудеса в решете.

— Быстрее раздевайся, через десять минут игра с девчонками.

Все долей.

На мне уже синие трусы, малиновая майка.

Из крана шипя бьет в ладони закипающая струя... Мою лицо.

Такая легкость, точно снял не жалкую кучку одежды, а каменный панцирь.

Из женской раздевалки вылетает с мячом пятерка девчонков. Коротко подстрижены. Белые трусы, голубые футболки. Одна в одну одинаковы.

Они бегут, пасуясь к противоположному кольцу.

Нам обязательно надо показать свою ловкость. Срывая «пас», проносимся мимо. Девчата яростно отбивают руки и снующий по ним мяч.

Мяч, жужжа, хлопается в мои ладони. Быстрая рука девчонки белой полоской взметнулась над ним... хлоп... и мяч, вырвавшись, скачет по зеркальному полу, любясь на свое отражение.

— Нина?

— Ты только заметил?

— Разве ходишь на спорт? Я никогда тебя здесь не видел.

— Никогда не видел... даже тогда, когда занимались вместе... Ты, Гром, совсем слепой. Такой девчонки да не заметить.

Она, смеясь, ловит на ходу мяч и дает сильный пас.

Судья на центре. Стоим командой против девчонок.

Свисток.

Мяч взлетает над головами и падает на руки «центров». Защита зажимает нападение.

Муч, сверкая новой шнуровкой, как бешеный бросается из рук в руки.

Отбиваю натиски голубых противников. За мячем трудно следить. Он охает, ударяясь о щит, трепещет в осатанелых руках. Руки на секунду хватают его, чтобы сейчас же перекинуть дальше.

Мяч уже затравленным зверьком носится по залу, вертится елочком, ища выход, норку... Наконец, нашел — кувырнулся в сетку.

Рю-юм. Рю-юм.

Свистит судья двойной гол.

— Вбили девчонки. Ребята, нажимай!

Мой противник — Нина. Перебиваю «пасы», идущие к ней.

Губы голубеют — она входит в азарт.

Прыгает, «фолит».

Быстро соображаю:

— Надо бы поосторожней. Нина ведь... Но нет — никаких слабостей — и выбиваю мяч. Нина свирепеет... Одновременно двадцать пальцев четырех наших рук крепко влипают в скрипящую кожу мяча и держатся, не отдают до «спорного» свистка.

Тайм окончен.

Держу голову над раковиной.

Прибегает Нина.

— Дай место.

И зажимает ладонью кран, из под которого со свистом пробиваются тонкие рассыпающиеся струи. Они щекочут и холодят тело.

Пять минут отдыха кончились.

Свисток второго тайма.

Нина хватается рукой и скороговоркой:

— На твой край не стану. Подеремся.

Я рад.



Водяная сетка душа щиплет и разжигает тело.

Выходим из клуба и отбиваем шаги по холодной осенней панели.

— Обидно, что не каждый день спортзал для нас. А то скука. Подохнуть можно.

— Скука-а?

Она широко открывает глаза.

— Понимаешь, делать нечего, за все хватаюсь.

Смех.

Нина поворачивается и шагает спиной.

— Они скучают... такие концерты закатывают... Для чего ты это говоришь?

Рассказываю о последних днях.

— Ну и что здесь скучного... Просто вас дрессировать некому. Вот подожди, возьмусь за тебя.

Мы на нашей темной лестнице. Застывшие Нинины руки небольшими льдинками лезут греться за растегнутый ворот моей рубашки, обжигают тело, грудь.

Вздрагиваю, терплю. Она, показывая полоску зубов, чуть слышно смеется.

— Как в огне... Ты не дергайся, Гром. Еще не так будет доставаться.

Нина теперь единственный близкий друг, но все же беру ее руки в свои и отвожу в сторону.

— Ты, Нинка, не понимаешь, как не хочется верить в конец «гарбузии». Раньше мы гуртом на собрании, на катке, в столовой, в бане... А сейчас каждый сам по себе. Осталось только допекать друг друга.

— Откуда это у тебя? Кого ты хоронишь? — Нина делается серьезной.

— Вы просто разленились, оттого и выкрутасничаете. Вам нечего делать, когда в коллективе застой. Новые ребята. Работать некому. Ходят табуном, создают свой комнатный «социализм», разваливают его и хнычут: «скучно!..»

Это она говорит холодно — по-ораторски, как говорят на собраниях, на бюро, но останавливается и уже тихо — по-своему.

— Скажи правду, у вас ведь не было настоящего товарищества?

— Настоящего — может... Зато мы...

— Давай больше об этом не говорить. Тебе надо взять работу и бухнуться в нее... У меня застыли руки, не отводи.



У проходной голубой лист — объявление. По листу прошла воронкой отсекарская рука:

«Севодня пленум коллектива

ВЛКСМ.

Явка обязательна»

У объявления хохот. Прыгают над буквами карандаши, исправляющие ошибки. Правщики сами запарились. Взрыв гогота.

Кузнец третьегодник, Жоржка, отсекарствует с того времени, как призвали в армию лохматого, веселого Яшкина.

Жоржку выбрали как лучшего компанейского парня, теперь он парится, наживает врагов. Как все наши кузнецы, он мордаст, широкоплеч. Имеет толстые сучья-пальцы и девятнадцатилетние голубые глаза.

В крошечной комнате коллектива галдеж, сизый папиросный дым.

Жоржку окружили «летуны». «Летун» — это птица, живущая за городом. После пяти часов никакие взгрейки на бюро не могут удержать в фабзавуче эту мечущуюся стаю. Им бы только за ворота, а там галопом... Грязь брызгами... Несутся на первый поезд к домашним щам, блинам, картошке. У всех «уважительные» причины.

— Мать заболела...

— На курсы надо...

— Раньше двенадцати никогда домой не приезжаю...
Хоть раз бы...

Остальные тоже страшно заняты — и вообще...

У Жоржки набухает кровью шея. На лбу вздувается сияющая жила.

— Валите, ребята, по цехам. Все равно ничего не выйдет. Комсомольцы... Значит обязаны быть — и баста.

«Летуны» уходят мокрыми курицами.

— Я тоже к тебе.

— Смыться хочешь? Ничего не выйдет.

Жоржка сердито достает из стола сверток. Разворачивает. В свертке ветчина и булка.

— Я не за этим. Хочу отказаться от звена. Надоело. Сведения да списки, списки да сведения. Мертвая работка — не по мне.

— А ты что — руки в брюки и Вася?

— Брось. Нельзя же меня морить на одном деле. Мне бы теперь поживее что-нибудь. Кипучее... Ну, хоть стенгазету, что ли. Заставлю гаркать, а то с прошлого года молчит...

Жоржка удивлен. Привстал, обалдело смотрит. Потом, точно боясь, что я откажусь, торопливо роется в грудке бумаг.

— Это молодцом! Слетел манной прямо. Меня совсем заели в райкоме. Сотков ищет и все подыскать не может парня кумекающего... На, тут все директивы. — Сует затрепанную папку пожелтевших листков.

— Прочти и собирай ребят. А мы на бюро утвердим.

Берет кусок булки, кладет на нее ломоть ветчины. Остальное подвигает ко мне:

— Лопай.



По цехам развешено воззвание:

«Стой!

Редколлегия стенгазеты ждет заметок. На-днях выходит первый номер газеты. Желающие работать — зайдите в бюро коллектива».

Редколлегию, вывесившую воззвание, пока представляю я. Прошлогондя отбрыкивается.

— Надоело... и так перегружены.

Жоржка лупит чернильницей по столу.

— В доску расшибись!.. Газету выпустить надо.

Его останавливает чернильный фонтан. Чернила испятнали лицо, рубашку и руки. Холодная капля на моей щеке.

Жоржка вытирается комком бумаги.

— Главное — спокойствие. Откуда дурь? Как говорю, так обязательно что-нибудь спаяю.

Он открывает форточку и смотрится как в зеркало.

— Зеброй стал. Ну и рож!а!

Бежит мыться, а возвращается таким же пятнистым.

— Другое бы что, так можно быстрее провернуть. Стенгазета — добровольное дело. И не ухлю в ней я ничего. Действуй — помогать буду.

Почтовый ящик редколлегии наполнен бумагой.

— Ну, хоть здесь завоевание.

Высыпаю содержимое. На столе разноцветная кучка: кожа от колбасы, корки и хорошо сложенная оберточная бумага. Среди них две маленьких записки.

На одной — «Бросьте, ребята, клязное дело. Все это буза. Организуйте лучше чечеточный кружок. А то на танцах от наших ребят всех девчонок поотбивали. Частник за уроки здорово дерет».

Второе письмо: «Гаря. Я с тобой больше не разговариваю. Между нами все порвато. Зачем ты вчера филонил с Лелькой.

$$\frac{Г + М}{2}$$

Внизу приписано красным карандашом: — «Порвато», выдумает тоже. Придумываешь формулы, а у самой по математике кол».

Вот и все.

Жоржка решил итти в народ. Пошел по цехам агитировать. В литейку забежал сияющим.

— Ключет, Гром!

Вытащил список. Первыми фамилии Шмота и Юрки.

— Чудеса... Как это они?

Дальше в списке: — Бахнина — токарный цех и Ежов — жестяницкий.

Вечером после звонка в коллектив зашел недавно работающий в фабзавуче педагог по родному языку «Сан Санич» Тах (не спутайте с песочницей «Дыр-доской»). Он черноволос, высок, нервно подмигивает правым глазом. Носит военную гимнастерку.

— Здравствуйте, товарищи! Здесь редколлегия?

Жоржка сначала таращит глаза, как бык на новые ворота, потом солидно:

— Здравствуйте, товарищ Тах. Редактор у нас литейщик Гром. Вот он. Будьте знакомы.

Дело заваривается не на-шутку. Сую нерешительно руку и по глупой привычке бормочу:

— Наше вам с кисточкой.

Тах смущен. Мигает глазом, потом хорошо усмехается.

— Я хочу помочь вашей редколлегии. Если разрешите, конечно. Когда у вас будет заседание?

Он вынул блокнот. Наобум бухаю:

— В коллективе. . . Завтра в обед.

Тах записывает, смотрит на часики.

— Тороплюсь. Кружок в ремонтных мастерских. Значит, до завтра.

Мнет руки и, нагибаясь в дверях, уходит.

— Вот это да. Педагоги берутся. Вы только, ребята, осторожней там. Держись, Гром.

Жоржкина рука как дубина хлопает по моему плечу.



Вначале всегда трудно. Придется на первый номер готовить материал самим. Потом пойдет в ход наша машина.

Учит, подмигивая черным глазом, Тах.

— Кончено. . . Пиши, секретарь.

Бахнина светловолоса, глаза у ней влажные и свежие, точно впервые открылись сегодня. Крошечными пальцами она выводит:

— Стенгазета из наших сил. . .

— Какой срок для сбора материала?

— Нужно сделать в пятидневку.

— Да, нам медлить нельзя.

— Через два дня собираемся опять здесь же.

Редколлегия расходится.



Свободный час. Надо собрать материал.



Кузнецы как куры копаются в куче железных обрезков. В кузнице нет железа — учатся на хламе.

Будет заметка.

На дверях кузницы приказ:

«... Домбову выносятся строгий выговор за драку в цеху. . .»

Кузнецы прочли приказ. Молчат. Потом кто-то тихо:

— Зря, ребята, к Тольке пристаем. Влип парень.

Когда те уходят, показывается из кузницы Толька. Волосы сырыми пачками на лбу. Близко придвинув к листку глаза, читает приказ. Сморгнулся, оглянулся и сорвал его с двери. Снова прочитал, плюнул в синие буквы и скомкал.



Тоскарка.

Три ряда станков. В ремнях точно запуталась гигантская муха — жужжит, стрекочет. Ребят в токарке мало, и те — щупленькие, низкорослые, работают с подставкой. Зато девчата — цветник. Так и стригут глазами.

Нина поднимает голову и быстро опускает. Следит за резцом. Она уверена, что подойдет к ней.

Прохожу мимо, к Бахниной.

— Как дела?

— Думаю все. Хочу написать о наших чарльстонщицах, о мастере. Видишь, и о станках надо, работаем на старых тарайках, давно бы их надо выкинуть.

Сейчас Нина растерянно следит за нами, потом резко поворачивается и делает вид, что ее только станок интересует.

— Схожу в другие цеха.

— Подожди, Гром, нагнись.

Бахнина белыми кудряшками щекочет висок.

— Как-то неудобно о своих девчатах писать, рядом работаем. . . Я расскажу, а ты, Гром, составь сам.

— Струсила? . . Я-то думал — бой-девчонка. . .

— Да ну тебя, напишу.



У женской уборной монтажники ставят батареи паропотопления. Юрка стоит у окна, что-то записывает.

— Ты чего здесь?

— Монтажничаем.

— С карандашом?

— Это я только сейчас. Тут интересное дело. Целую статью накачу. Ты знаешь, какие бродяги девчонки? Смотри. — Он показывает запись:

Соломкина — 9 раз

Никитина — 7 раз

Лапкина — 2 часа

Плечи поднимаются к ушам.

— Ни бум-бум не понимаю.

Юрка объясняет:

— Это они в уборную по столько раз до обеда бегают. Фокстротят, поют, мажутся. А я вроде как заведующий общественными уборными — на карандаш и давай отчет.



Ряды черных тисков отгорожены предохранительной сеткой. На сетке перед каждым слесарем листок с самодельным чертежом.

На зажатый в тисках металл набросились пилы, напильники, ручники и в неудержимой пляске зудят, тукают, повизгивают.

По рядам ходят мастера, хмурятся, поглядывают.

Слесарка самый большой цех, а выловить что-нибудь трудно.

Из конторки вылетает Грицка. Волосы ежом, на красном лице выпуклое золото веснушек. Он не может спокойно говорить.

— Откажусь от поммастера... К богу в рай всех. Ребята меня не слушают. Скажу — сделай так, а они наоборот — по-своему пилят. «Запорют» и жалуются мастеру — мол, он так велел. В коллектив жалуются, когда отругаешь за это кого. Сегодня Жоржка отчитывал... теперь мастер...

— Ладно, Грица — берем на заметку.



В раскрытое окно лудилки выбивается бурый дым. Там кашляют и паяют жестяницы. Кислотный воздух. Сушит горло, глаза.

— Здравствуйте! Как живем — паяем?

— Ты не сюда попал, твоя в токарке.

— Что у меня в токарке?

— Знаем, братишечка, не строй коровьи глазки.

— Сама ты земфира волоокая. Я за делом, а она трепатню... Почему вас заставляют работать в этой морилке?

— А ты что, завмастом стал? Смотрите, девочки, какую он моську деловую строит.

— Как же, редактор и вообще...

— Делопуп.

Смех.

— Ты, Гром, так и пиши. Не жизнь, а жестянка. Качать

будем потом. А теперь сматывайся, посторонним торчать в цеху воспрещается.



Что я брожу по чужим цехам? Литейка бузливей всех, а молчу.

Будет статья — не статья, а рассказ целый. Сделаем.



Начинается серьезное. Наплывают старые дни, вечера, ночи. Те дни, когда на моей груди болтались красные языки пионерского галстука. Когда был жив единственный родной кочегар — батька. Даже когда его обварило паром и то про-сиживал вечера за боевой школьной газетой.

Разглаживаю бумагу. На ней буду рассыпать буквами мысли. Это будут кусачие заметки.

В «гарбузии» тихо. Шмот что-то сочиняет. В муках творчества вспотел, изгрыз пол-карандаша, а на бумаге одна си-ротливая строчка.

Самохин, заткнув уши, лежа на койке что-то зубрит.

Грица мечтательно жует.

Мелкий стук в дверь... Кто-нибудь из наших. Теперь вошло в привычку изводку начинать еще за дверью.

— Входи, не волнись, а то табуреткой запущу!

Входит смущенная Бахнина.

— Я к вам, ребята.

Опускаю табуретку.

— Ты извини. Думал, свои треплются.

Она оглядывает комнату.

— Как у вас мусорно. Почему не убираете?

— Здравствуйте. Разве гости об этом говорят?

— Я не гость, у меня дело.

У Шмота появляется галантность кавалера. Он, краснея, сует табуретку и кланяется.

— Будьте любезны, садитесь.

На наш смех обижается.

— Вот дураки. Вежливости не понимают.

«Вежливость» у Шмота из книг. Он поглощает их десятками. Читиво отборное — о герцогах, графах и индейцах.

Прибегает Нина.

— Я готова. Идем.

— Куда?

— Ты еще не рассказала? Нет. Так я сама скажу. Я тоже

буду работать в редколлегии. Поняли? А сейчас собирайтесь на вечеруху.

— С чего это?

Бахнина, запинаясь, растолковывает:

— Домашняя вечеруха... Ну да... И меня зовут с подругой, только чтоб смазливей была... Это у агитпропа, у Соткова. Мы с Ниной сговорились вас взять. Он агитпроп, а все по домашним бегает. На заводе мог бы организовать... Ни потанцовать, ни... никогда у нас не делают вечеров... Ну вам и так понятно.

— Почти что понятно. Одевай, Шмот, свой парадный жупан.

В коридоре ползут навстречу Юрка с Толькой. Толька петухом запекает:

— Я бранду себе достану...

Его ноги цепляются одна за другую. Глаза как розовые плашки в паутине.

Юрка одной рукой поддерживает Тольку, другой срывает кепку и затыкает ею его раскрытый рот. Девчата в стороны.

— Гром, помоги!

— Что с ним?

— «На пробку наступил». Иду с трамвая. Смотрю на углу кто-то лается и лупцует фонарный столб... заглядываю, а это Толька. Взял за шарманку и сюда.

— Это все делает отдельная монета.

Тольку тащим в комнату. Шмот и Грица остаются дежурить над одуревшим, пьяным Толькой.

Мы с Юркой догоняем девчат.

— Чтонибудь серьезное с Домбовым?

— Ничего, простуда.

— Здорово же вы простуживаетесь. Вашу «гарбузию» тоже придется пробрать как следует. Мы с Нинкой вскрыем вашу простуду.

— Действуйте. Только это случайность. Приказ наверно подействовал.

На улице морозит. Мы беремся под руки и четверкой занимаем панель.

Прохожие, ругаясь, обходят.

Обсуждаем план налета.



Темный двор.

Через дверь, обитую войлоком, пробивается заглушенный

шум и музыка. Стучим. . . Дверь открывает развязный курносый парень. От него пахнет парной кислятиной комнаты и вином.

— С опозданием, драгоценные. Прелесть вы какая очень. Пардон, пожалуйста входите.

Пропустил девчат, а нас рукой в сторону.

— А вы, братишки, катитесь. . . Лохов своих хватит.

Дверь, ударив по юркиному козырьку, мягко захлопывается. Щелкают задвижки. Юрка беззаботничает:

— Красота, если кто понимает!

Я мрачен.

— Поворачивай оглобли!

— Подожди, девчата выхлопочут.

Ждем. Опять открывается дверь.

Показывается ненавистная курносая рожа.

— Умеете играть на инструменте?

Юрка начинает расхваливать свои таланты.

— Валите музыкантами. У нас все филоны собрались.

Дверь пройдена. Из большой шумной комнаты вышла девица с яркими губами, в платье из сплошных прорезов.

— Ничего мальчики, аппетитные.

Нас сажает в угол большой комнаты. Сунули гитару с бантом и пузатенькую мандолину с перламутровой бабочкой.

— Тустеп. . . Вуаля тустеп.

Жеманичает курносая рожа. Ударили по струнам. Парочки затуптели. Танцуют похабно.

Нину подцепил «рожа». Мясистым носом «рожа» торкается в ее волосы и что-то болтает. Она отворачивается. Сжимаю крепче гитару. Пусть выкинет что-нибудь такое.

На танцующих парнях болтаются мешками полосатые костюмы «Оксфорд». Парни завиты, подмазаны — настоящие денди, Европа, не как-нибудь, только шея выдает своей подозрительной чистотой.

У девчат модные платья — «все на выкат», фильдекосовые чулки с простыми надставками. Яркой бабочкой рот до ушей. На щеках яписные «мушки красоты». Юрка подталкивает локтем.

— Смотри, Сотков каким чучелом.

Сотков, переоксфордженный, в отличие от всех, напялил вдобавок желтые перчатки и шелковое кашнэ. Задыхается от жары, но, выгибаясь, топчется с полной кубышкой, налипшей на круглое лицо четыре «мушки красоты».

И такая он «Европа», что на нас, простых смертных, ноль внимания, кило презрения.

— Пляшет под нашу дудочку, да еще погибает. . . Хватит баловать, кончим.

Танец в разгаре. Кто-то гнусавит:

— Сегодня со мной жигалет. . .

На этом месте складываем инструмент. Пары с ходу сбились в кучу. Ловкачи лапают девчонок.

— Ах оставьте. . . Какой вы. . .

— Будьте перпендикулярны. Знаем обхождение, не как-нибудь.

— Не надо. . . светло.

— Маэстро, а ля фокстрот!

— Весна в Париже. . .

— Фиалки. . .

В ответ «Европе» играем самый крепкий кусок из гарбузовской популярной оперы «а пошли вы к богу». Сотков волнуется, прижимает руки к груди.

— Товарищи, что за неуважение. . . Честное слово, мне за вас стыдно.

— Стыдно? . . Врешь — совсем не покраснел, один пар идет. Ты вот насчет шамовки бы рассказал что-нибудь веселенькое.

Сотков морщится.

— У нас для гостей. . . В двенадцать.

— Это ничего. Мы и одни можем. Где это у вас пристроено?

— Музыкантскую порцию получите. Только уговор — играть в столовой во время тостов.

— Веди. Отработаем.

Проходим через «экзотическую» комнату с заглушенным зеленым светом. На диване, в углах на мягких стульях шопот, вздохи, чмоканье.

Юрка осторожно вынимает спички. . . С шипением взрывается серная головка. Яркий огонь ловит врасплох разнеженных зеленой экзотикой.

Возмущаются:

— Нахальство.

— Это неблагородно.

— Мы не Европа, негде было благородства набираться.

В столовой на круглом столе, среди горок жратвы, цветные башенки — графины с вином.

— Вот ваша порция. Ешьте на стуле, на столе свинятничать нельзя.

Сотков наливает из графина в стакан липкой красной смеси, она отливает кровью. Наполненный стакан он опрокидывает в глотку.

Съедаем свою порцию и начинаем пробу блюд, стоящих на столе.

Сотков крысится.

— Я вас выгоню. Перестаньте.

А сам достает из-под стола бутылку и сосет из горлышка.

Юрка глух, он пробует все, что есть, кроме вина.

В большой комнате играют в «фанты» и в «исповедь». Парочку на пятнадцать минут закрывают в темную кладовушку «очищаться от грехов». «Рожа» за главного пророка. Он пропускает в «райские ворота» парочку, закрывает на ключ, прикладывает ухо и ухмыляется. Остальные играют в «фанты». Судья присуждает под разными соусами десятки поцелуев.

Парни обхватывают девиц. Те томно запрокидывают головы. . . и парень всасывается в накрашенные губы.

Нинка брезгливо морщится.

— Идем, ребята. Противно.

Одеваемся и незаметно за дверь.

На лестнице две фигуры.

Слышится пьяный голос Соткова.

— Тонечка, честное слово я желаю жениться. . . Я самостоятельный. Не верите, плюньте тогда мне в карман. . . я вас. . .

Ч-м-о-о-к.

— Ах. . . не надо. . . не надо. . . я сама. . .

— Какая сволочь этот Сотков. На собраниях речи закатывает о мещанстве, этике. . . Гладенький слизняк.



Заседаем.

— Кто читает первый?

— Грому полагается. . . читай. . .

У меня пять заметок из путешествия по цехам. У Юрки три. Нина и Бахнина накатали целую простыню о плохом агитпропе Соткове, о вечерах, о фокстротчиках и все с фамилиями, с фактами.

Шмот, краснея и заикаясь, читает свое творение.

«Неправильная дуэль»

Наши ребята ничего не ухлят в дуэлях. Соркин отбил у Кости Вантина его даму сердца. Вантин по правилу шарнул в него рукавицей. Соркин заначил ее. Тогда горячее сердце Вантина не стерпело и плюнуло Соркину на кепку. За это ихние ребята после работы сделали ему «темную». Наша группа считает такие дуэли неправильными. В грамотном фабзавуче надо бы знать правила дуэлей.

Ричард Львиное Сердце.

Девчата, боясь, что прорвется во время читки подступающая волна смеха, заткнули рты носовыми платками и зажали носы. Но не выдерживают... Смех разрывает ноздри и рот. Попробуй удержишься. Серьезны только Шмот и Тах.

— Товарищи, я считаю, что эту заметку можно поместить с примечанием редколлегии. Это будет хорошим показателем того, как мы, педагоги и мастера, начинаем с первого года воспитывать фабзавучников.

Шмот гордо подымает голову. Его «фитька» от самодовольства превращается в красную пуговку и точно говорит — «Видите, какой у нас защитник, что вы понимаете в дуэлях».

Следующий — Ежов:

«Дайте хороших мастеров»

У нас в жестяницкой мастер только знает работу. На вопросы не отвечает.

— Мол, в классе пройдет.

Когда начинаем спорить на политические темы, он ехидно смеется и вставляет всякие «шуточки» на советскую власть. К тому же часто трогает девчонок. Те боятся жаловаться.

Чужой.

— Пиши... пропустить.

У Таха целое воззвание к педагогам:

— Товарищи преподаватели, за мое недолгое пребывание в фабзавуче я встретился с возмутительными по-моему фактами.

1. Мы, преподаватели фабзавуча, работаем как чиновники. Явимся, отсидим определенное количество часов и с последним звонком торопимся домой.

2. У нас нет товарищеских отношений с учениками. Обреченный перерыв мы добросовестно отсиживаем в учительской. Был ли такой случай, чтобы кто-нибудь из нас пошел в общий зал, где фабзавучники могли бы побеседовать с нами о волнующих их вопросах?

3. Наши учебные программы (может быть это слишком резко) мы передельваем каждый по своему. Поэтому некоторые, может сами не замечая этого, преподносят фабзавучнику то, что ему не потребуется в практической жизни.

4. Мы плохо собираемся на методические совещания. Никогда (если

не считать частные разговоры в учительской) не обмениваемся опытом.

5. Наша масса слишком инертна. Каждый из нас представляет автомат, который выполняет только ряд движений, положенных свыше, чтобы получить определенную сумму средств.

Мы должны воспитать четырехсотенный человеческий конвейер. Из фабзавучника должен выйти хороший производительник с большим багажом знаний и с навыками в общественной работе.

Я предлагаю обсудить это ненормальное положение.

А. Тах.

От Жоржки пришла отпечатанная на машинке статья: — «Каким должен быть комсомолец».

— Пропустить в сокращенном виде. Статью Соткова «Об этике» не пропустить, в виду большого пустословия и неверных, по мнению редколлегии, установок.

Наконец я решаюсь прочесть свой набросок о литейке.

— Читай, Гром, чего прятал, послушаем.

«Ш а р и к н... ш е с т ь...»

(Зарисовки)

Нефтяная пыль огненно шумела и билась между тиглями, бешено нападая на истекающие густой, знойной кровью куски металла...

От шума фабзайчат в литейной веселей... Весело еще потому, что у волчка вместо старого, ворчливого, придиричивого мастера стоит небольшой, полный, со стриженной бесцветной бородкой новый мастер и, помешивая в тиглях, ведет свое первое литье. С ним тройка дежурных фабзайчат. На глазах выпуклые синие очки. Через очки весь мир синий с фиолетовыми искрами...

Часть фабзайчат ставит груз на опоки, пачкаясь белойой, замазывает их. Другим делать нечего. Подбегают к трубам вентиляции, подставляют руки... Воздух приятно щекочет и тянет в трубу...

— Вот так тяга. Дождались ешки-кошки. Чисто в цеху. Дыши, хоть лопни.

Цеховой обжора, парень длинный и тощий, с прозвищами «Крокодил» и «Прорва», сорвав с гвоздя полотенце, поднес к самой толстой трубе. Полотенце надулось и яростно захлестало концами... «Крокодил» от удовольствия улыбается, показывая двойные ряды кривых зубов.

Но... Что это?.. Он поблдевал...

Вентилятор загромыхал, заухал. Голос у «Крокодила» стал дрожащим, жалким.

— Рябцы, полотенце уперло! — пронесся крик.

— Выключай мотор!...

Рубильник щелкнул, выбив искру. Трубы умолкли. Гудела одна форсунка. Из волчка шла удушливая нефтяная копоть, окутывая цех мраком... Любопытные сгрудились. Мастер, вытираясь платком, быстро спросил:

— В чем дело? Чего натяпали?

Отвечало сразу несколько голосов. Он не понимал,

— Полотенце...

— Какое полотенце? — А разобрав, стал строже.

— Как же это ты, парень?

«Крокодил» молчал. Пустили для пробы мотор. Шкив буксовал. Кто-то предостерег:

— Завмастерскими идет!

Расступились. Зав всегда окутан суровой серьезностью. Бузливых литейщиков не любит. Узнав о случившемся, нахмурился.

— Опять литейщики. Сколько хлопотали о вентиляции. Затратили столько денег, а все для того, чтобы в первый же день испортить.

Обернулся к мастеру.

— Чья работа?

Тот смотрел из-под рыжеватых ресниц на стенку, как бы обдумывая, и сказал:

— Никто не виноват. Дело само настроилось. Полотенце у трубы висело. Тягой сорвало.

Зав мастерской недоверчиво:

— Как на гвозде? Почему на этом гвозде, когда место у раковины?

— Я ваших порядков не знаю. Я — новый человек.

Ребята удивленно открыли рты. Мастер спокойно повернулся к волчку. Открыв заслонку, крикнул:

— Эй! Готова подъемный. Начинаем.

Ребята поспешно готовились к литью, успевая тихо переговариваться.

— Вот так мастер!

— Наш парень.

Тигль поднят, посажен в гнездо вилки. Металл, с треском выпуская искры, вползал в жадные литники...

Зав постоял, посмотрел на мотор и, покачав головой, ушел.

В цеху голубой, сладкий газ...

2

В перерыве «Крокодил» смущенно благодарил:

— Спасибо... я этого... нечаянно...

Мастер, уписывая ломоть ситного с молоком, бубнил сквозь набитый рот:

— Чего там... Понимаю... Сам таким был... Знаю, как вашему брату влетает... Мы так, бывало, дружно друг за дружку держались, как только начальство, так у нас условный крик: «Шарики. Шесть». Ну, все — шмыг, прыг по местам... и шито-крыто. А рабочий своего не выдаст, уж это заведено...

Губатый Колька Гиков попробовал возражать:

— Ну, теперь не нужно... Можно и без этого. Мы сами себе начальники... Мы и... — но на него цыкнули:

— Засохни! Разактивничался... Старый рабочий лучше знает...

Мастер улыбался.

— Что — тоже начальство?.. Генерал комсомольский... Так ты не стесняйся, пойди и выдай своего...

Гиков смущенно краснел.

— Я не собираюсь кляузничать. Только должны с администрацией напару...

— Пару... Какая же ты начальнику пара? Тютя.

Ребята ржали.

— Вумному парню да дурная башка досталась.

На мастера хорошо поглядывали и радовались. Свой мастер!

3

Топот трамбовок. От чугунной пятки земля, оседая, ухаёт и вздыхает. Шуршат гладилки, хлюпают примочки. Говор. Гуд. «Крокодил» с «Ханумой» формуют на пару. Торопятся и поглядывают на мастера, который обходит верстаки. Низко нагибается над формами, торкает в них пальцем... Когда он разгибается, «Крокодил» быстро заслоняет собой опоку...

«Ханума» уже вынул модель из формы, остается только прорезать литник, как вдруг мастер неожиданно направляется в их сторону. «Крокодил» хватается сито и быстро на опоку... Мастер заметил. Усмехнулся:

— От меня не спрячешь.

Поднял сито. В опоке отпечаток: голая женщина на развернутом веере.

— Что, пепельница?

— Да... Но мы... практическую...

— Ладно, чего там... Мне не жалко. Только заву не попадитесь. Сами отвечаете.

— Мы осторожно.

Они, обрадованные, быстро доканчивают. Тащат в сушилку. Завтра зальют металлом.

4

В обеденный перерыв вместо бутылки молока мастер на пару с чернорабочим опрокинули столько же горькой.

Наклюкались до слез. Чернорабочий, плача, выкладывал свои нелады с женой. Мастер уговаривал:

— Брось горевать... Ну, их... — И, потеряв равновесие, ткнулся в старую опоку.

Вдруг послышалось быстрое:

— Шарики! Шесть!

В окно заметили приближающегося завмастерской. Мастер бессмысленно скреб руками землю, размазывая сгустившуюся кровь.

Пришлось стащить его в сушилку и закрыть. Заву «залили пушку»:

— Мастера нет. Ушел за моделями.

5

Опять, как раньше, когда не было вентиляции, спокойно бурчала форсунка, в цеху висела вонючая липкая копоть. Широко раскрывались двери, с улицы врвался сквозняк. Только делегаты не ходили по-старому в местком ругаться. Литейщики как бы отделились от других фабзайчат. Жили обособленно, скрытно.

Приходили на работу с опозданием. Раскачивались. Кому не лень, берет модель. Модель чистая, полированная, будто смеется над грязным цехом и спецовкой. На-зло пачкали ее угольной пылью, присыпали мяг-

кой жирной землей и формовали... Остальные группками толкуются. Разговоры о киношке, о вчерашних играх в футбол... Мастера работа не интересует. Повертятся около своего шкафа и айда в канцелярию или к мастерам других цехов.

Цеховые трепачи и лентяи обращаются в крикливых обезьян. Мяуканье, вой, писк...

Тучей земляной пыли разлетаются разбитые о стенку шишки, от них вместо белой стены — рябая пестрота. Взлетают к потолку наполненные водой рукавицы, глухо шлепаются, разбиваясь в брызги.

Горластый Тюляляй, взобравшись под потолок, надрывно вопит в отдушину вентиляции. Трубы густо гудят.

— Алло! Але! Всем! Всем! Слушайте! Слушайте. Передает опупелый театр на волне в один сантиметр. — Дальше идет склонение «матери».

А внизу у «Крокодила» зеваки любят на искусство обжираться. «Крокодил», промоллов в свою «прорву» круг колбасы и полкило хлеба, запивает десятую кружкой воды килограммовую булку... Лицо позеленело. Пыхтит.

— Чижало желудку...

Ребята гогочут, а он, ухватившись за живот, корчится, вскакивает и опрометью в дверь. В догонку:

— Го-го-го! Ги-га-га-а!...

У шкафа с моделями состязания по меткому втыканию подъемщиков в дверь. Отчего она, ухая, ноздрится и крошится в щепки.

«Обезьяны» открывают беглый огонь из земляных комков по формирующим. Те злятся:

— Бросьте, сволочи.

— Кто сейчас мне залепил? Митька? Да?

...Хрясть!...

— Ты за что меня?

Шлеп обратно...

— Так ты по зубам?.. Да?..

— Ж-жух-х... По-уху. Схлестнулись в клубок... Полетели кисточки, косматки, гладилки, карасики...

— Рябцы, бой!

— Дай ему! Ляпни!

— Брось подначивать. Разнять надо.

Ругань. Свист. Гам...

Вдруг охлаждающее:

— Шарик! Ш-шарик... Ш-ш-шесть...

В одно мгновение в цех вскакивает тишина. Быстро входит мастер. Это означает, что завмаст обходит цеха.

— Уборочку, ребята. Давай скорей уборку.

Когда язляется зав, то цех приглажен, прилизан. Каждый делает вид, что усиленно работает... После ухода опять дикий концерт. Камера для отопления воздуха превращается в спальню. В воздухе ругань. Земляные комки, крючки, примочки, косматки.

За час до шабаша «обезьяны» намываются. Пробежит коричневая спецовка по двору, быстро оглянется и — шмыг в проходную. Знают, что мастер скажет табельщику:

— Один в один. Все на месте.

А. Гром.



— М-м-да-а... Неплохо сделано, — мычит Тах.

— Нам бы вот так сделать наброски нашей действительности.

— Это точные картинки из жизни нашего цеха. Я изменил только имена и личность мастера... Если напечатаем, так в цехах будут разговоры.

— Тогда где мы сейчас находимся? Самая неприкрашенная бурса, — уже скрипуче и зло кричит Тах.

— А кто в этом виноват?

Тах молчит.

— Все!

Вскакивает Нина.

— Я, он, ты — все первосортные бурсаки. Почему мы до сих пор молчим. Начальник занят, его никогда не бывает в фабзауче. Завуч и педагоги из старых школ, со старыми привычками. А мастера?.. Предлагаю выпустить газету под заглавием: «Война бурсе».

— Есть.

— Я, когда шел сюда, никак не мог представлять этого, — недоумевает Тах.

Глаз быстро, быстро моргает.

— Завтра отпечатаем материал. Потом соберемся и все сверстаем.

Тах, уходя, бормочет: — Не думал, не думал... Излишняя резвость, ошибки как везде... Но это слишком.

— Ребята, не расходись. Давайте поговорим без Таха.

— Тебе слово, Бахнина.

— Статью Таха я считаю слишком мягкой. У нас хуже... Ну, вам понятно...

— Что предложишь?

— К следующему номеру, каждый из нас должен подметить все налады и сделаем коллективную громобойную статью.

— Предлагаю это же сделать и по мастерским.

— Есть, ребята?

— Есть.

— Баста. Только держитесь. Достанется здорово.



Юрка разбил руку. Отсиживается с «куклой» дома.

Только в спецовке, в сапогах, лежит на постели, курит, вздыхает, плюется. Его сегодня за скандал в цеху сняли на целый день с работы.

Нудная тишина.

Бродить по замусоренной комнате, считать гвозди, вбитые в стену, чертить пальцем по запыленному окну, свистать — надоест.

— Что делать? Может Юрка проголодался?

Притащил кипятку. Кипяток бесвкусен, обжигает рот. В такой жратве нет ничего веселого.

Опять бродит по комнате, ловит мух и сажает в паутину ж пауку. Тот их тискает. Они по-человечьи в смертельном страхе блажат, ревут, надрывают свои голоса. . .

Юрка заглядывает во все уголки, тайники. . . И вдруг. . . стоп! Что это? . .

На постели Самохина беспорядок — лежит пригорюнившись ключ от самохинского сундучка.

Тот ключ, который Самохин так ревностно бережет и прячет.

— Любопытно. Ах елка зеленая, что делать? . . Фактура, у Самохина что-то интересное спрятано.

Здоровая рука прямо зудит:

«Сунь ключ в замок. Поверни и готово».

Только лежит, повернувшись к стене.

— Была не была. . . смотрю.

Сундучок вытащен из-под койки. . . Трр-рик. Крышка откинута.

Юрка, открыв рот, округлил по-птичьи глаза. . . Захлопывает крышку, опять открывает и то же самое.

— Толька! Брось из себя памятник корчить. Посмотри только. . . Здорово же. . . Фу-ты, ну-ты. . .

Толька медленно опускает ноги, щурится.

— Тебе все не сидится. . . сейчас и то пристаёт. . . Не посмотри, что больная рука. . .

— Гав-гав-гав! — передразнивает Юрка — и уже серьезно:

— Ты не лайся. . . подойди и взгляни. . . Сразу расширение зрачков получишь.

Толька нехотя встает, подходит и нагибается.

— Моя кожанка. Как она сюда залезла?

Юрка быстро разрывает содержимое сундучка.

— Грицин французский ключ. Моя готовальня. . . А мыла. . . мыла-то сколько! . . Папиросы — «Рекорд», «Сальве», все, что мы раньше курили. Во куда они исчезали!

Сундучок наполнен вещами, которые еще так недавно су-

ществовали, как коллективные. На дне Юрка откапывает Чебин расписной кисет. В кисете толстая пачка желтых трепанных рублевок. Это те самые рублевки, из-за которых...

— Вор...

Едва слышно шипит Юрка, потом вскакивает, как бы уверяя себя:

— Конечно, вор... С нами... свой парень... От дурак! Толька швыряет кожанку.

— Вы все свои в доску!..

Он курит, плюется и ходит по комнате, отшвыривая ногами табуретки.

Юрка сидит на корточках как пришибленный, боясь подняться...

В таком положении их застает прибежавший с работы Шмот.

Шмот удивленно шмыгает «фитькой», раздевается, подходит, разглядывает раскрытый сундучок, для него здесь нет ничего интересного. Бежит мыться.

Юркино оцепенение проходит, когда появляемся мы — Чеби, Гридка и я.

— Смотрите, какая сволочь с нами живет. — Он толкает ногой сундучок, тот шурша, как рубанок, выплывает на середину комнаты.

Ругаемся. А что ругань? В милицию ведь не пойдешь. Кто ожидал, что из своей братвы, в нашей «гарбузии» и...

— Эх, парень, парень... и не дурак ли?..

Когда входит Самохин, мы стоим как на параде. Лица серьезные. Не шелохнемся.

Самохин растерянно озирается...

— Опять что-то подстроили.

А заметив выдвинутый сундучок, торопливо его задвигает под койку.

Толька, по-бычьи нагнув шею, вытаскивает опять этот раскрашенный ящик.

Выпуклые глаза Самохина выплыли из орбит, точно они хотят выскочить и закатиться куда-нибудь в темный угол, чтоб не видеть свершающегося. Рот перекосялся, стучат зубы...

— А, цыца поперла!

Толька подымает сундучок над головой и с силой швыряет на пол.

Звон... треск...

Вывалилось барахло... прыгают и катятся путовицы... Рассыпались папиросы, мыло, тряпки, напильники, сверла, линейки...

— Вор!

Самохин, как от удара, закрывает лицо, потом падает на пол.

Под нашими ногами, на коленях, пресмыкающееся жалкое животное, он ползает, собирает рассыпанное барахло.

— Вы не смеете... я все накопил... два года собирал... Все мое собственное... сволочи...

Самохин начинает визжать, ругаться.

Только сгребает его за шиворот, ставит на ноги и ударяет в лицо.

— Ах... О-о-о...

Самохин вскидывает руки. Сквозь пальцы вырывается тонкая струйка крови и маленькими клюквинками капает на пол.

— Я купил от вас... Отнять хотите... Жрите... давите... .

Он бросается на Юрку, бьет и пачкает кровью. Тот кулаком отталкивает его на Чеби, Чеби на меня... Самохин попал в круг кулаков и ног. Он мечется, рычит от ярости, раздирает пальцами рот и плачет.

«Гарбузию» заполняют любопытные. «Ярунки» удерживают взбесившегося Самохина и тащат охлаждать под кран.

Только выгоняет всех из комнаты. Собирают со Шмотом все в сундучок и выбрасывают его за дверь.

Шмот напуган.

— Попадет, ребята... Может он и вправду накопил.

— Накопил!

Раздраженно кричит Толька:

— В «гарбузии» «накопил» — хуже, чем украл!

Он бросается на постель и закрывает лицо руками.

Вещи Самохина «ярунки» унесли к себе. В «гарбузию» Самохин не вернулся.



Газета «Война бурсе» заняла всю стену.

Цеха обскакал слух:

— Продернутых прямо списки. Так и хлещут.

В обед в красном уголке «ходынка».

— Ты что затемняешь!.. Для одного что ли повешена?..

— Батяка твой не стекольник? А ну в сторону!

У газеты толкотня, ругань. Ребята лезут друг на друга.

Сотков, прочитав о себе, летит к Жоржке:

— Почему моя статья не помещена?

— Спроси редколлегия.

— Я знаю, кто это подстраивает. Знаю, кто против меня кляузы разводит... Я ставлю вопрос на бюро. Ты знаешь, что гарбузовцы хотели обокрасть Самохина? Еле ребята спасли. А ты допустил их до стенгазеты.

— Что же ты раньше молчал? .. Придется собрать бюро.



В цехах разговоры.

— А ловко вас хватанули!

— Смеется тот, кто смеется последним.

— Захотел до последнего. Ты сейчас после кипяточка погыгарчи.

— На своих кляузничают, выслуживаются.

— Ребята, легашей били всегда. Нужно узнать, кто писал — и рожу в клюкву.

— Там, брат, такие, что сам с «электрификацией» пойдешь. А клюквы на тарелку киселя набьют.

Сотков бегаёт по цехам, сколачивает группки озлобленных.

Вхожу в литейку. Разговоры сразу обрываются. Мастер ворчит и возится у волчка, гремя заслонками.

— Что мне формовать?

Он молча подает замысловатую модель клапана и уходит.

— Почему в цехе такая тишина?

С моделью иду к Тюляляю.

— Ты как ее формовал, в двух опоках или в трех?

Молчание.

— Брось трепаться, скажи. Я ее ни разу не формовал... И мастер не говорит.

Тюляляй точно не меня видит, смотрит в окно и насвистывая, уходит в сушилку.

Иду к Ходырю.

— Как ты ее формовал?

Ни звука. Ходырь смотрит в потолок.

В лабиринт мозга заползают подозрения.

— Неужели... Нет, надо еще раз проверить у Хрупова.

Хрупов тоскливо смотрит и показывает руками, что у него нет языка.

Значит, бойкот.

Лоб и спина покрываются липким потом.

Формую по-своему. За спиной тихие разговоры. Ребята нарочно подходят друг к другу, — показывают, растолковывают.

Меня не видят. Точно Грома нет и не было в этом цеху.

Бойкот — истрепанное на митингах, измельчавшее слово, потерявшее свою силу, здесь становится страшным и грозным.

Зашел в литейку Сотков, о чем-то шепчется с Ходырем и Тюлялем.



Держись, редколлегия!

После работы собираемся обсудить создавшееся положение.

Шмотова «фитька» превратилась в помидор. Первогодники устроили «темную», накрыв макинтошем, дали буксовку.

— Кто дрейфит?

— Нет таких.

— Давайте тогда поторопимся и выпустим срочный номер. Дадим еще бой. О Соткове собирайте факты... Он уже напуган, надо добить.

Будет шум. Об этом говорят физиономии членов бюро и орда «сотковцев» — совещательные голоса.

Комната бюро захлебывается дымом и духотой.

— Перейдем заседать в местком.

У Жоржки хрипит горло:

— На повестке один вопрос — его все знают.

— Ладно, давай.

— Слово Соткову.

Никогда на бюро не хлопали, а сегодня «совещательные» ударили в ладоши.

Сотков с иступлением фанатика, придавая голосу особый ораторский акцент, начинает крошить редколлегию.

— Не зря сегодня собралось столько комсомолии. На нашем здоровом теле появился гнойный нарыв...

— На здоровом ли? — не удерживается Бахнина.

— ...Группа расхулиганившихся дебоширов, имеющих комсомольские билеты, пролезла на активную работу. Захватила наш орган печати. Они начинают подрывать авторитет актива и бюро. Стараются разжечь вражду между фабзавуч-

никами, мастерами и педагогами. Своими дебошами они разложили всю массу общежитийцев. Они не стеснялись даже грабить своих фабзавучников. Случай с Самохиным...

— Врешь... Зачем эта слизня врет! — срывается пришедший послушать Толька. Усаживаем его на место.

— Молчи, пусть ораторствует.

— Сегодня же надо ставить вопрос обо всей комнате 16, так называемой «гарбузии».

— Григорий Иванов — его выдвинули на поммастера. Думали, свой парень, а он напакостил ребятам... Теперь подает заявление: мол, мне мешают работать — снимите, и это поддерживает редколлегия. Хулиганство Домбова... Если перечислять все безобразия, то не хватит сегодняшнего вечера. Это все переселилось в редколлегию. У меня есть конкретные предложения — первое — переизбрать немедленно редколлегию, второе — так называемых гарбузовцев исключить из союза и поставить вопрос об их пребывании в фабзавуче. Других членов редколлегии снять с работы и дать строгий выговор за то, что не противостояли их действиям.

— Правильно! Голосуйте без прений — надрываются «сотковцы».

Толька демонстративно встает.

— В таком цирке нам делать нечего... Пошли, ребята...

Он уходит, хлопая дверью, за ним, гордо подняв голову, шагает Шмот.

— Скатертью дорога!

— Предлагаю сегодняшнее собрание объявить собранием актива. Здесь собрались лучшие ребята.

— Тут не весь актив...

Жоржка теряется, не зная, что делать, и вопросительно смотрит на кочегара Никандрова, прикрепленного от партячейки к бюро комсомола. Тот сидит в углу, подперев голову рукой в томительной позе полудремоты. В его опущенных веках усталость бессонных ночей у шипящих котлов пароотопления. В темных морщинах усталость лет. Редкие волосы перемешаны с тусклым серебром седины.

Сотков напирает:

— Как не все? Это будущий актив... Ребята работают. Товарищ Никандров, как вы на это смотрите?

Никандров набивает табаком трубку. Закуривает.

— Решайте как вам лучше. От названия делу ничего не прибавится.

— Я и говорю — раз собралось бюро и лучшие комсомольцы, надо и решать коллективно.

— Если этого хочет большинство членов бюро, тогда можно... только не дело это...

— Чего не дело, должно быть единство.

— К чему бюрократизм разводишь?

— Замолчите. Пусть по-вашему — собрание актива. Голосовать могут все. Слово Бахниной.

— Ребята меня возмущают... Вы сами понимаете... Ну, как не знать человека, который брешет. Соткова продернули в газете. Здесь стесняться нечего, нужно сказать правду. Сотков сам разложился... Это настоящий хамелеон, ловко меняющий цвета. «Гарбузию» я защищать не буду. У них много некомсомольских выходов, но ребята там крепкие, нужные нам... Они впервые взялись серьезно за стенгазету. Ведь все отлынивали от этой работы. Редколлегия вела необходимую для нашего фабзавуча работу. Я против предложения Соткова.

— Следующий Глазнов.

— Считаю, что Сотков прав. Раз ребята шпанят, нечего их ставить на руководящую работу. Если мы сегодня говорим о «гарбузии», то надо вытащить за ухо и Соткова. И попечь на нашем солнце. Он до бюро вел агитацию против гарбузовцев, чего не должен был делать. Ходит, нашептывает, собирает сочувствующих, факт, что парень чего-то боится. Я давно замечаю, что он только в такие моменты или перед выборами в бюро делается своим в доску, обнимается со всеми, здоровается с каждым, папиросы раздает, а так в стороне. Надо и его пощупать.

Сразу загалдело несколько желающих высказаться. Часть «сотковцев» пересаживается на другую сторону. Сотков косится на изменяющих.

Секретарь едва успевает записывать основное:

Рыжов — поддерживает Соткова.

Кисляк — высказывается против редколлегии, которая разводит кляузы.

Комский — гнать гарбузовцев.

Гром — кроет и хвалит «гарбузию», защищает редколлегию.

Козлова — кроет бюро за то, что в общежитии не ведется работа. «Гарбузовцы» лучше многих из общежитийцев. Ребята распустились, потому что нет работы в коллективе. На редколлегию больше внимания.

Шумова — защищает редколлегию и кроет Грома за бузу в «гарбузии».

У секретаря кончился лист протокола. Он только записывает фамилии, ими облепил все пустые углы протокола. Наговорились до хрипоты. Раскрасневшийся и осипший Жоржка просит высказаться Никандрова. Никандров несколько минут сидит молча, чешет черным пальцем обросшее лицо... дымит.

— Что ж вам сказать, ребятаки... Дело, конечно, небольшое. Выгонять не стоит. Мы в молодости все такие были... Да вот... что это я хотел сказать... По-моему выгонять не стоит. Исключить всегда успеете. Накажите как-нибудь и присмотрите за ними. Ребята, как видно, не плохие. Может за ум и возьмутся. А в редколлегию выберите посерьезней.

Жоржка ставит на голосование три предложения.

Большинством рук проходит последнее:

Переизбрать редколлегию. Гарбузовцам сделать строгий выговор с предупреждением и загрузить другой работой.

Домой шагаем с Ниной. Она сегодня серьезна.

— Годится ли, по-твоему, Жоржка в отсекры?

У меня голова гудит. В горле твердый ком. Отшучиваюсь:

— Не так чтобы очень и не очень, чтобы очень.

— По-моему он слаб. Парню еще надо поработать на мелкой работе. Организовать ничего не умеет. Вот сегодня. Разве так это ставят. Сказать веско не мог, прилип к большинству... И Никандров... Спать что-ли выделили его к нам?

— А кого, по-твоему, присылать нужно было? Выбери из восьми человек нашей партиячейки... И так они по пятку нагрузок несут.

— Во всяком случае не Никандрова. Он не может войти в нашу жизнь, не может понять нас... Нельзя выделять любого из свободных, да к тому же старика, который устает от своих котлов, а тут мы еще шумим... дремать мешаем. Он дисциплинированный, добросовестно отсиживает «нагрузку», может имеет большой опыт... Но нам-то от этого не легче. Если Жоржка не говорит об этом Зеленину, так я сама пойду в коллектив...



Голова как камень. Беру ее, тяжелую, двумя руками и тискаю в подушку.

— Такое желание было работать, забыть гарбузовскую бузню и вдруг сразу, как обухом по всему.

Кругом бурса. Первосортный бурсак Гром пошел с другими войной на нее и от первого же удара обмяк. Вся охота отпала. Нет, шалишь, мы еще подеремся.

Вся «гарбузия» задает храпуна. Толька, сбросив одеяло, с кем-то воюет, рычит и пьяно бормочет. Он опять сегодня выпил.

— Пропадет парень. У нас нет чуткости друг к другу. Надо хоть «гарбузию» привести в боевой порядок. Хватит брызгаться — набузились. Уже усы пробиваются. Да-а, тяжелый случай. Как это мы теперь с усами?

Трогаю шершавость под носом и на бороде. Ворочаюсь, думаю. Голова тяжела, как камень, а уснуть нельзя.

Думай, Гром.



В фабзавуче новая редколлегия. Старая собралась в кучку.

— Как же с нашим материалом? Эта редколлегия не пропустит. Сотков зарежет.

— Чего трусите. Собирайте только материал. Место найдем.



Толька бухтит. С ним что-то творится. Целые дни лежит одетым на постели. Смывается с работы, иногда совсем пропускает день.

— Толька, чего ты вола вертишь?

— А вам что? На хвост наступили, что ли...

Он засовывает голову под подушку и лежит, как медведь в берлоге.

В фабзавуче новый приказ:

— ...Анатолий Домбов за недисциплинированность и прогулы с 20 октября сего года увольняется...

Это он принимает молча, только в глазах безнадежность и скука.

Ходим на цыпочках.

— Ребята, надо Тольке помочь. Совсем разнюнился. Возьмем на поруки, может оставят в фабзавуче... с кузнецами поговорим... Нужно будет настроить его.

— Пусть успокоится, тогда возьмем в обработку, а то и вправду по-собачьему всегда с ним... Он горячий, нервный...

Поручаем это Грицке, как самому спокойному.



Только где-то пропадает. Укладываемся спать. Он является, вытаскивает тетради, книги и все рвет в пень. Снял с гвоздя старую гитару, натянул пальцем самую тонкую струну... она жалобно взывала... тогда он сгребает в кулак все струны и выдирает с колышками. Самой гитарой взмахнул, как топором и рубанул по табуретке... От гитары только щепы в сторону.

Затаив дыхание, боясь проронить слово, смотрим.

Только уткнулся лицом в постель. Плечи вздрагивают. Плачет.

— Грица, вали теперь.

— Рано...

Ждем.

Только очнулся, привстал, повел глазами... В комнате он никого не видит.

Шатаясь, подошел к двери, толкнул ее и вышел.

— Шмот, посмотри, куда он.

— Здорово забирает... С чего он?

Прибежал запыхавшийся Шмот:

— Только спускается на улицу! — Хватает шапку и опять за дверь. Быстро одеваемся и вдогонку.

На улице тишина. Вдали у белого качающегося фонаря бегут двое — один за другим.

— Они... Вдогонку, ребята.

Только, а через несколько десятков шагов Шмот, мелькают в световых фонарных конусах.

Впереди у канала серые силуэты деревьев. За ними темнота.

Летим галопом.

Слышен крик:

— Только, куда... Тольк...

Мы у канала. Шмот бежит и машет руками, как подбитая ворона.

— Вот сюда... прямо с разбегу... Прыг через решетку... только брызги на меня.

В темной, густой, как чернила, воде купаются три желтых оконных квадрата, по ним колышутся и ползут жирные змеи кругов.

— Раздевайся, ребята.

Юрка обнажен раньше всех, он стоит за решеткой и вглядывается в воду.

— Темно... Совсем темно, не найдем.

— Это с непривычки, потом просветлеет, вали.

— А какое место? .. Место где? Шмот. ..

На середине послышался всплеск. .. Кто-то гулко вздохнул.

— Кто это?

— Толька. .. Фактура, он. Ухай скорей.

Юркино тело белой полосой описывает дугу и шлепается в воду. За ним остальные.

Холодная вода обжигает тело. Вынырнувший Толька шумно разгребает воду и плывет по течению. За ним шлепают «саженками» трое.

— Толька, хватит колбасить. .. Вода холодная.

Лязгает зубами нагоняющий его Юрка. Тот молчит, подплывает к берегу и, срываясь со скользких камней, вылезает на берег. Оттуда протягивает руку и помогает вскарабкаться нам, потом падает на каменные плиты.

Около нас уже кучка любопытных. Разглядывают странных пловцов.

— Пьяный попал?

— Нет трезвый как будто.

— Он с моста свалился, я видел.

— Нет, это соседкин муж, он с женой скандалил. Горячий такой. .. ах, ты господи! ..

Шмот, пыхтя, тащит грудку одежды. Молча одеваемся. подымаем Тольку и ведем домой.

Любопытные не расходятся, они фантазируют и сплетничают.

За нами тянется водяной след.



В «гарбузии» выжимаем коллективно грязные струйки из Толькиного барахла. Он с синими губами сидит, укутавшись в Грицкину шубу.

— Бросьте, ребята. Пусть так. .. Все равно завтра дома сидеть. .. Не люблю я. .. для чего вы все это? В вонючую канаву полезли мерзнуть. .. Я и сам бы вылез. Подумаешь, утопленника нашли. Сами грейтесь, а то еще «кондрашка» кого хватит.

Он говорит по-хорошему, значит можно распоясаться и нам.

— Бродяга же ты, Толька. Для чего все заварил? В фабза-

вуче если упекали, так мы давно сговорились... и тебя опять примут. А он сразу — бух. Пуль-пуль-пуль... Шляпа же ты! Толька морщится.

— Надоело все... Везде на тебя... А чего так коптить. Раз и готово... Вы думаете, для ферту в воду сыграл, чтобы разжалобить... Чорта с два... Выплыл, потому что противно стало... Мордой прямо в грязь угодил... хлебанул... Липкая, вонючая... и вылетел как пробка.

— Ты же, чорт подери, парень что надо. Лучше многих. А недотрогу из себя разыгрываешь — «Я урод, мол, все против меня». Посмотри на других. Шмот с «фитькой» ходит. Чеби что жердина. У Грицки вся физия в крапинку... у каждого свое. Ты брось фокусничать... с недостатками как с яйцом носиться. Будь как все и конец.

Толька дергает из шубы пачками шерсть.

— Я и то... Да бросьте вы, ребята. Хватит. Просто опупение было... Почумовил и под кувалду... Плевать теперь буду... Да что там... Давайте лучше чайку сгонашим.



Жив курилка!

«Гарбузия» возродилась хотя и не «бузней», но названия, прилипнув, не отстают.

Толька работает. Чеби диктаторски скрещивает руки на груди и имеет соответствующий своему положению тон — он староста и казначей. Получка вся у него.

Нет отдельных сундучков, отдельной шамовки, все — гарбузовское.



— Девчата, идем в Актеатр... У нас две ложи. Празднуем омоложение «гарбузии».



Девчата удивлены.

— Опять табуном?

Юрка отбрехивается.

— Что ж поделаешь, раз дети — лошади.

В театре лермонтовский «Маскарад». А нам вовсе не хочется скучать. В антракт в фойе не идем. Кому охота толкаться среди расфуфыренной, чинной и важно шагающей публики.

У себя в ложах заводим песню. Остальные ложи косятся, заводят бинокли.

Актеатр не привык к таким вещам. Это считается буй-

ством, распушенностью. Нина запекает — мы подхватываем. Чеби умудряется на месте делать треугольники и многоугольники из своих ног. Поддаем жару ладошами. . .

Третий сигнал. Утихаем. На нас все еще поблескивают и косятся бинокли. Из ложи краснофлотцев и с галерки улыбаются и машут руками — эти с нами.

Следующий антракт.

К нам примыкает краснофлотская ложа, галерочники и одиночки.

— Идем в фойе, чего тесниться.

В фойе большой шаркающий круг. Над ним смесь духов и сдержанного говора. Блестят плечи, золотые зубы.

Расчищаем центр и затягиваем «молитву Шамиля». Краснофлотец, кровожадно сверкая глазами, зажимает в зубах подвернувшийся огрызок карандаша и легкой походкой выворачивает коленца лезгинки.

Расфранченная публика, возмущенно стрекоча, уплывает. Все в фойе наше. . . Песни и пляс до второго звонка.

В последнем антракте — мы завоеватели театра.

Галерка приплыла вниз праздновать победу. На сцене трагедия, у нас комедия. Мы отдыхаем в бурливом весельи, в кловете смеха. Пусть косятся и брызжут слюной через золоченые зубы соседние ложи.



Первый снег вспененными волнами осыпается на улицы, на дома.

По мастерским радость. Третий год уходит на производственную практику в паровозоремонтный завод. Монтажники — будущие паровозники — заводят на дворе невероятный джаз-банд. Бьют в инструмент, в рельсы, в железные листы и подпевают.

По цехам дрожат трубы вентиляции — литейщики передают:

— Алло. Внимание. Оставляем вас сиротками, сматываемся в главные мастерские. . . Не забудьте приготовить носовые платки и ведра для слез.

У токарей новые фиолетовые халаты, над халатами цветущие физиономии. Модельщики с «урой» качают мастера. Кузнецы хвастают кожаными передниками.

У второгодников зависть в жадных глазах и вытянутых носах. Они стараются быть равнодушными, а работать не могут, выбегают взглянуть на счастливцев.

Мы — третий год — важничаем. Носы под углом в 45°. Мы настоящие производственники. Наша продукция будет гроыхать в дышащих паровозах, громадных составах.

Из токарки вылетает Нина.

— Гром, как хорошо. Ты пойми — с сегодняшнего дня мы уже приносим пользу.

Она хватает меня за руки и кружит по двору.

Снежная пыль взметывается и звенящей сеткой осыпается на стены мастерских.



Здания ремонтного завода разошлись на километр. Мимо них ползут светлые полосы рельс.

Тараторят пневматики. Зудят пилы. Грохают молоты.

— Красота!

Вертится на одной ноге Тюляляй и имитирует звуки:

— Тум-та-рута-тута-бух! Турарута бух!

В мастерских принимают шумно.

— Э-э... Сосунки явились. Пооботритесь. Сгоните жирок.

В литейной, шипя, ползут краны. Квадратами высятся громадные опоки. Гудят и полыхают жаром вагранки. Топают автоматические трамбовки.

— Во где покуралесим!

— С такими махинами покажем им сосунков.

Фабзавучникам-литейщикам отведен большой светлый угол. Обнюхиваемся. Шарим по цехам и где что плохо лежит — тащим в свой угол. Теперь часть часов работы в мастерских и лишь только два теории.

Славно.

Глазеем на настоящую заливку. Краны, визжа от тяжести, осторожно тащат громадные ковши...

По матовому воздуху литейной летают, сорвавшиеся с мотала, крупные звезды.

Жерла литников от избытка знойной крови загораются синими огнями. Огоньки, окружив опоку, танцуют победный танец отлитых форм.

— Это все наше. Для нас.

Руки так и чешутся.

— Почему нам с первого же дня не дают работы?



У ребят тверже походка. Серьезней физиономии. Еще бы: через несколько месяцев мы квалифицированные рабочие. Самое почетное звание в мире.

Настроение сверхвоинственное. Нина жмет:

— Надо собрать нам свой кулак. Сотков сколотил братву и заворачивает всем. Они настряпают. Нужно дать по лапам.

У старой редколлегии гора материалов против «бурсы».

— Вот что, товарищи, хватит пассивничать. Нужно группировать вокруг себя ребят. Больше внимания на первый и второй год. Они главная армия. Мы уйдем, им все достанется.

— Предлагаю на первое время каждому набербовать по два человека.

— Есть такое дело.

«Сотковцы» выпустили стенгазету, в ней скучище, длинные статьи — гладкая, никого не трогающая болтовня. Только в одной заметке возмущается «Зрячий», что Домбов опять работает.

Такой противник не страшен.



— Славный ты парень, Гром.

— О, еще бы.

— А Нинка?

— Нинка лучше меня.

— А я как?

Щурится Бахнина, показывая сверкающую полосу зубов.

— Тебя еще как следует не разглядел.

— Ну, а все-таки?

— Ну, что тебе скажешь... С твоими зубами я бы многих sloпал.

— Тогда держись... Зубы точу на тебя.

Под лыжами скрипит снег. В белом лыжном костюме Бахнина точно слеплена из легкого снега.

Нина занята в клубе. Завтра выходной день. Утром вместе со спорткружком она прибежит на лыжах.

— Мы едем в яхт-клуб устраивать места. — Бахнина скользит легко, без усталости. Широкими взмахами едва настигает ее.

— Гром, смотри, какая аппетитная гора. Слетим разок, а?

— Темнеет, не стоит. Осталось еще пятнадцать километров, до темноты не добежим.

— Темноты испугался. Я тебя за руку поведу. Сворачивай на гору.

Она взбирается на гору. Швыряет палки вниз. Сгибается,

взмахивает руками... и летит стрелой, взметывая снег. Я за ней.

Лететь, так лететь! Пусть пищит в ушах и режет в глазах... Дышать нечем — внизу надышимся.

Бахнина взлетает на большой бугор и, как громадный снежок, тонет в сугробе. Объезжаю, торможу, но не удерживаюсь и лечу вверх тормашками. Лыжи не сорвались. Они делают на ногах невероятные фигуры... тело по инерции скользит, сгребая снежные горы.

Снег набился — за шиворот, в рукава. Тает и жжет под фуфайкой. Бахнина отряхивается. Ее лицо покрыто мелкими капельками, кажется, что она не хохочет, а весело плачет.

— Ну, как? Еще слетим?

— Нет, довольно. Спина и так ноет. К тому же рукавицы посеял.

Роемся в снегу. Нет рукавиц.

— Ладно, едем. На следующий год дюжина вырастет.

Опять под лыжи течет белая тропа. Режем снежную грудь земли. Ветер с воем рвет одежду.

— Сворачивай на залив. Здесь ближе.

На заливе разгулялся ветрище. Буйствует, вертит волнами колкую ледяную пыль. Волосы Бахниной, выбившиеся из-под шапки, густо посолены инеем. Щеки повишневели и стали бархатными.

Ветер не дает ходу. Бьет в грудь, валит с ног. Наперекор ему рвемся вперед. В жилах гудит и пламенеет кровь. На залив медленно сползает синь. Пустая даль уже темна и зловеща.

— Добавь шагу!

— Попробуй усилить ход, когда ветер швыряет из стороны в сторону.

Ночь опускает свои широкие и тяжелые крылья на залив. Снег скрипит тонко и жалобно.

— Хотя бы один огонек. Туда ли мы едем?

— Едем куда приедем. Разве плохо очутиться в неизвестном месте?

— Хорошо, но не сегодня.

Руки как грабли. Их раньше нестерпимо кололо и жгло, а сейчас точно их нет, они не мои. Ударяю по бедрам... нет рук.

— Стой! У меня руки обмерзли.

Бахнина трет их снегом, а они деревянные и добродушные. Она волнуется:

— Чего ты молчал? .. Ну, куда теперь с такими руками? Трогает лицо, уши.

— Совсем замерз. Давай обменяемся фуфайками... У меня пушистая, теплая, а твоя, как у дачника.

Снимает непослушную, цепляющуюся за подбородок, уши и волосы, фуфайку. Напяливает свою.

— Ну, что мне делать с твоими руками? Слушай, Гром...

Она что-то надумала, но смущается и не может договорить. Я машу мертвыми кистями, сосу их как медведь.

— Пстой... Стеснения по-боку... У меня под фуфайкой тепло. Давай руки, отогрею.

Бахнина осторожно кладет мои деревяшки на грудь и прижимает.

От холода вздрагивает и смеется.

— Жаль, что темно. Наверное покраснел, как девчонка. Это лучше, кровь прибьет.

Она хлопает по щекам, трет уши.

— Гром в моей власти!

Когда руки отходят и становятся жарче груди, мы делим ее рукавицы по одной на каждого и скользим дальше.

— А куда едем? .. Теперь ничего не поймешь.

— Надо подождать. Пусть посветлеет.

В сугробе у вздыбившейся навесом льдины роем яму, утаптываем и садимся, тесно прижимаясь друг к другу.

— Только не засыпай. Зимой опасно.

— Учи маленьких!

— Подумаешь — большой. В общем, будем болтать без передышки.

— С полным удовольствием.

— Подожди. Садись ближе, теплее будет. У меня есть интересное... Мы с Нинкой надумали замысловатую штуку. Для этого весь собранный материал придется оформить в инсценировку. Сюда тебя запряжем. Притащим в клуб из мастерских рабочих, мастеров, педагогов. Все начальство и... тряхнем «бурсой». Пусть почувствуют ответственность за все. А то для них фабзавуч, как фабзавуч. Тишь да гладь. А если что и знают, так для них это «мелочишки». Ну, как?

— Расцеловать вас за это.

— А кого первого?

— Хотя бы тебя.

Она тянет губы. . .

Густой балтийский ветрище перебрасывает снежные валуны и вертит их каруселями.

— Наша теплота распределена неравномерно. Греется мой правый, твой левый бок. . .

— Придется обняться. Это неопасно, Гром.

Обхватываем друг друга.

— Нинка хорошая девчонка?

— Конечно.

— А я?

— Ты и сама знаешь.

— Сегодня мы близкие, близкие. . .

Крылья ночи поселили. Светает. Далеко на снежном поле темный квадрат яхт-клуба.

— Мы взяли слишком вправо. Зря мерзли, осталось чуть добежать.

— Все не зря. Дадим хорошего ходу и согреемся. Хуже то, что ребята скоро появятся, а мы ничего не приготовили. Заблудились. . . Даже стыдно сказать.

Ноги соскальзывают с обледенелых лыж на нескрипящий, обновленный ветром снег, который неожиданно вспыхивает каскадом крошечных радужных искорок.

— Смотри!

Бахнина в ужасе протягивает руку.

От яхт-клуба по заливу рассыпались темные пятнышки и скользят навстречу.

— Это наши. . .

Ребята приближаются шумно, смеются, галдят. До нас долетает:

— Эй! . . Чудики! . . Где пропадали?!

Кричим:

— Там уже нет!

Нас охватывают большим кольцом. Кольцо суживается.

— Перемерзли-то как! Эх вы, лунатики!

Прорываюсь сквозь круг. Не слушать же насмешки. Нина нагоняет.

— Как я жалею, что с тобой не поехала. Кружок не работал. . . Подожди, да подожди же. Тебя оттирать надо. Губы как васильки синие.

Теперь уже Нина издевается над моим лицом, руками. Мнет, треплет их.

— Давай меняться фуфайками. У тебя уже чужая? Бахнина дала? Молодец! Я говорила, что девчата выносливей.

Пушистая фуфайка Бахниной оттопыривается на груди.

Мы летим, обгоняя других, только снег в стороны.

В яхт-клубе зимует с собакой и вечной носогрейкой сторож — старый финн. Он зажигает сухую траву и засовывает в круглую железную печурку. Вспыхивает сухое смолье. На ласковых языках пламени девчата жарят одубевшую мороженую колбасу и хлеб.



— Вставай! Летим на буерах. . .

На буерах, вытащенных из сараев, закрепляем мачты. Паруса под ветром стреляют и рвутся в неизвестность. Нина завоевывает «Соколенка» — самый крошечный двухместный буер. Она за рулевого, я разгонщик.

Море засыпано тонким слоем снега, кое-где синие плешины льда.

Буер пойдет.

По сигналу вылезают десятиместные великаны и, как солидные судна, медленно плывут, скрипя коньками. . .

Наш «Соколенок» быстр и вертляв. Он вздымает облака снежной пыли, грудью ударяется в сугробы и вылетает из них, оставляя звенящую завесу.

Нина держит руль и концы паруса. Она низко нагибается, что-то кричит, но ветер забивает рот снегом. Этот же колкий ветер пронизывает одежду и косматыми лапами скребет по телу, делая кожу гусиной. Паруса стреляют и мчат. Лежу на дне лодки, не держась, и щурюсь как кот.

«Соколенок» тонет в сугробах, подчерпывает полную лодку сыпучего снега и опять вылетает на лед отряхиваться.

Крутой поворот. . . Пулей вылетаю из буера и продолжаю путь на собственном животе.

Облегченный буер уносит Нину и скрывается.

Я один под ветром на льду.

На западе слышны пистолетные выстрелы — там авария. Сейчас все буера спешат на помощь. А тут торчи как чурбан, пока тебя разыщут.

«Соколенок» мелькает вдали, исчезает, снова показывается и вдруг неожиданно вылетает из сугроба, разнося его в пыль. Делает большой круг и около меня ослабляет паруса.

Нина хохочет:

— Здорово ты, я даже не заметила сначала.

Спешим к потерпевшим аварию. Туда же летят буера с севера, юга и востока.

Аварию потерпел «Великан», наткнувшись на горбатую льдину. Ребята разбросаны. Лодка буера перевернута. Первый конек разбит. Паруса с мачтами улетели по ветру дальше. «Соколенок» им вдогонку. Остальные буера подбирают потерпевших.

Паруса, получив свободу, от радости громадной чайкой скачут, кувыряясь по льду. Старательно увиливают и удирают от «Соколенка».

Наконец они в моих руках бьются в последних конвульсиях и послушной подстилкой ложатся на дно лодки.

Вост сирена: — «Возвращайся-а-а... Возвращайся-а-а!»

Меняемся с Ниной местами. Теперь она может говорить со мной, слова ветер сам принесет к ушам.

— Мне Бахнина все рассказала. Здорово ты... Теперь она на моих правах... Ну что ж, товарищи — так товарищи.

Нина скучно улыбается. Я кричу:

— Не фантазируй! Не так это!

Но ветер затыкает рот. Нина ничего не слышит. Она что-то поет и пускает пригоршни лохматого снега на меня.

В яхт-клубе одеваем лыжи. Отсыпаем финну табачку для его носогрейки и айда домой.



Настоящее производство оскалило на «сосунов» зубы. Встречает своей суровостью, осторожностью, практикой столетий.

Теория в фабзавуче много вбила молокососам лишнего, сейчас мешающего, совершенно непригодного, а настоящего, жизненного, так это понемножку — чуть-чуть. Название одно.

В фабзавуче работали на допотопных таратайках с названием станки. Здесь на заводе техника, новые конструкции. Ребята знают их только по картинкам в книжках.

Производственники скрытничают. Прячут от любопытных глаз свой опыт.

Парятся сосуны. Потеют и парятся.



Монтажники, превратившись в паровозников, облипли маслом, нагаром и копотью топок.

Рабочие и мастера делают все тонкое и ответственное. — «А вы, сосунки, смотрите и привыкайте».

Сосунку надоело привыкать, хочется пошабрить, пригнать... заставить эту часть паровоза жить. А дают самое грязное и неблагодарное: — «Прочисть... промой».

— Три, три и дырка.

В депо поставлен еще теплый паровоз с больными буферами и стяжками.

У Юрки нетерпение:

— Взберемся, ребята, наверх. Посмотрим все как следует. А то все знаю, а никогда не удавалось пальцами потрогать регулятор.

Незаметно, тройкой, они карабкаются по масляным ступенькам паровоза.

Нервы и мускулы паровоза тонки и выпуклы.

— Здесь давление смотрят... Водомерное стекло... Так переводят кулису. А где регулятор?

— Вот кажется. Как только пускают пар?

— Я знаю. Дай-ка!

Юрка с решимостью старого машиниста твердо отводит отполированный ладонями регулятор... Какой-то толчок заставляет паровоз вздрогнуть. Он разбужен, фыркает и скрипит колесами.

У ребят паника.

— Еще горячий... пар...

— Дай тормоз!...

— Пусти к регулятору!

— Да он испорчен... не действует...

Все трое торопливо хватаются за все блестящие части, которые почему-то оказались чужими, злыми и беспомощно ехидными врагами.

Сосунки вертят, поворачивают ручки... Никакого результата. Тормоз не действует. Паровоз движется.

— Прыгай, ребята... Подумают на нас, а он сам пошел.

Но поздно. Громадные деревянные ворота депо под напором тендера трещат, срываясь с петель и с громовой песней валятся на тендер... Еще один поворот колес и у паровоза иссякают последние пары, — остатки пружинистой энергии покидают его.

Он замирает с кулисой, беспомощно поднятой для шага колес.

Сбегают паровозники...

— Что за светопреставление?

Прибежал напуганный начальник депо.

— Кто выводит паровоз?

Показываются в окно машиниста три бледных, перепуганных и измаранных физиономии. Губы дрожат.

— Кто вам разрешил взбираться на паровоз?

Сосуны от испуга не могут выговорить слова.

Здесь словом не отделаешься.



В механической поют резцы, свивая стружку. Двух фазавучников поставили за громадный строгательный станок.

— Наблюдайте, сосуны, за резцом. Как что — позовите.

Низкорослым токарям скучно задира́ть головы и смотреть за скрюченными кольцами стружки. Медленно тащится резец по большой площади чугу́нной отливки. Ходят вокруг, мурлычат по-самоедски бесконечную песню. Ходить надоело.

— Стоп! Я придумал.

Радуетса толстый Копнов. Он взбирается на станину, усаживается над суппортом, поджигает ноги и едет вместе с резцом. Резец скрипит, разбрызгивая чугун.

Другой в нетерпении.

— Дай мне покататься.

Меняются местами. Уже второй наездник со свистом разъезжает взад и вперед.

Вдруг влетает мастер:

— Вы что, сукины дети... в бога, душу, в профсоюз... делаете?!

Наездник неловко спрыгивает. Спецовка цепляется за хваткий выступ... Руки станка тащат его цепляющегося и орущего на весь цех.

Мастер останавливает ход. Отпускает добавочную порцию мата и гонит наездников из мастерской.

— Прислали сопляков. Себя и других подведут. Без своего начальства не приходите.



Столяры поставлены на ремонт старых вагонов.

Две девочки мучаются над непослушной дверью, которая уперлась и никак не хочет слезать с петель. Они в отчаянии

отдают последние силы. . . Р-раз. . . Коварная и тяжелая дверь вздумала подпрыгнуть на петлях и обрушиться всей своей персоной на них.

С разбитыми лбами горе-работниц уводят в амбулаторию.



В литейной болтаемся без работы.

Производственных моделей не дают — «испортите». На старых работать не хочется — набьешь форму, опять разбивай. Вроде «перпетуум-мобиле».

Бродим по мастерским, глазеем на заливку. Отливается большая труба. Ходырь подходит вплотную и жадно глядит на kloкочущую струю в литнике.

Большая опока дымится, исходит паром. Металл гудит в ее утробе, бьется о стенки. Неожиданно жидкая лава находит узкую, плохо замазанную земляную щель. . . С треском вырывается огненной струйкой и яростно набрасывается на сапоги Ходыря.

Тот через голову сальто. . . Падает, дико вереща, вскакивает и бухается в лоханку с разведенной белойой. От лоханки белые мотыльки брызг.

Сапоги Ходыря изрешечены. Ноги в волдырях. В минуту заработан больничный лист.



Сосунам совсем не доверяют. Сосун — последнее слово в мастерских. Нас боится мастера. За нами слежка — «вдруг чего набедокурят». К станкам, к машинам ближе чем на три шага не подходит.

Хочется встать на водокачку, взмахнуть как мулла руками, и мощно закричать:

— Что ж вы в бога. . . боитесь нас. Дайте привыкнуть к таким масштабам, так мы, сосуны, вам покажем.

Нет рупора. Нет голоса, да и никто слушать не будет.

— Ребята, надо делегацией к НШУ сходить. Он, видно, ничего не знает, или знает, да не то.

Сотков скептически корчит рот:

— Волянка. . . Ваше дело шуметь без толку. . . Трепаться. . . Подумаешь, что деловые. . . Большинство будет против делегации. Скоро мы заслушаем на бюро отчет экономработника. . . Мы сумеем вынести ряд предложений.

— Бюро через месяц. Комиссии да подкомиссии на два месяца, на проработку предложений месяц. Глядишь — к

выпуску и дело кончите. К чорту! Мы без твоего большинства обойдемся. Вашей кучке может быть обидно, что дело опять «гарбузия» затевает, так она без вас и кончит... Итак, до новых лучших встреч...



В «гарбузии» собрались «бунтовщики». Нас уже небольшая армия: в списке восемнадцать человек: десять третьегодников, пять человек второго года и три первого... Начали речью Бахниной:

— Ребята, мы слишком шумны и в то же время мертвы. Мы плохо ощущаем новое время. Вместо коллектива — каждый старается жить в одиночку. Старики ждут, что молодежь покажет им новую жизнь, а мы стараемся итти по проторенным дорожкам. У нас старые педагоги с допотопными привычками и навыками. Они, может, и стараются дать хоть что-нибудь новое, но старое осаживает, им трудно вырваться из него.

— А мы в это время разводим в классах бузу, плывем по течению. Правда, бузотерить и трепаться весело, приятно, но не забывайте, что большинство из нас комсомольцы... Нашему поколению самое почетное задание: — строить социализм... В стране небывалое напояжение... Многие отдают все, что у них есть, отдают себя. Пассивничать в такое время преступно.

— Ведь стыдно перед отцами, которые из-за нашего будущего отдали столько крови. Мы же не плохие ребята. Мы можем сделать многое. Нам нужно действовать сплоченным коллективом. Нужно войти в цеха и классы серьезными хозяевами. Для веселья мы найдем другое время. Неправда ли, ребята?

Слова Бахниной взбудоражили. Каждый выступающий старается быть серьезнее обычного.

Кончили боевой резолюцией:

Первое: с сегодняшнего дня считаем себя ударной группой. Каждый обязуется вести беспощадную борьбу со старыми привычками, с несерьезным отношением к учебе и работе в мастерских. Каждый обязуется подготовить и закалить себя к выходу в боевую жизнь строительства.

Второе: послать к НШУ с наказом Грома, Бахнину, Шумову и Иванова. Требовать выполнения наказа.

— Резолюция принята — теперь, ребята, в кино. Шмот купил билеты из фонда «гарбузии». Желющие увеличить фонд сдавайте монету Чеби.

Чеби принимает несколько рублевков.

— До начала еще полчаса. Сейчас для зарядки джаз-банд. Берите, что кому подвернется. Только дирижер.

«Гарбузия» заводит свою «Карманьолу» с притопыванием, хлопками, пением и тишиной, разбитой на такты.

Остальные примыкают, поддерживают.



На удивление общежитийцам из «гарбузии» шумно выкачивается восемнадцатиголовая армия киношников.

Кино.

Нина не садится рядом. Девчата пятеркой — это буза, надо разбить. Меняюсь местом со Шмотом. Сажусь рядом с Бахниной. Нина заглядывает. В глазах огоньки нето смеха, нето презрения. Она пересаживается к Юрке и Чеби. Те от удовольствия ерзают на стульях и как пулеметы перебивают болтовней друг друга.

Бахнина поворачивается:

— О... ты рядом. Я вот говорю ребятам, что не мешало бы нашей группкой слетать на лыжах в яхт-клуб. Мы ведь с тобой умеем устраивать места.

— Да. Навык есть.

— А знаешь, Нинка как будто бузу заводит. Молчит, а понять можно. Давай нарочно из кино пойдем вместе. Мы ведь с тобой приятели.



Стучим в дверь с надписью — «начальник школы ученичества». Нам отвечает эхо пустых коробок.

НШУ со сбитой копной волос цвета «не пойми — разбери», натянув зеленый телефонный шнур, кричит в трубку:

— Тогда с опозданием... Да, да... Приеду обязательно.

Повешенная трубка еще хрюкает.

НШУ нас не замечает. Он разинул пасть портфеля и смотрит в его внутренности, как звездочет на вселенную. Не обнаружив какой-то канцелярской «звезды», роется в стопке хрустящих листков.

Мы треугольником надвигаемся на стол.

— Ко мне?.. Выкладывайте... Тороплюсь.

Глаза его заблудились в бумажках, из которых он складывает на столе пирамиды.

Садимся и молчим.

— Так. Я слушаю.

— Нам надо, чтобы вы не торопились.

Он удивлен, отбрасывает опустившийся на глаза жгут волос.

— Мы те, кого в мастерских называют сосунами, те, которых может быть на днях выгонят из завода опять в фабзавуч.

— Так, так... Я кое-что слышал. Что там у вас?

— Вы слушайте внимательней. Мы не можем так говорить.

В словах настойчивость. НШУ улыбается, кладет перед собой белый листок и поднимает карандаш.

— Слушаю внимательно.

— Мы учились два года, идет третий. На производстве смотрят на нас, как на новичков. Не подпускают к станкам. Были у нас ошибки, частью из-за бузливости, а больше всего потому, что мы не так как нужно подготовлены, не организованы, слоняемся без дела по цехам. Калечимся, потому что с нами нет ни мастеров, ни инструкторов. Для самостоятельности фабзавуч нас не подготовил. Производственники к нам относятся с недоверием, а может быть и враждебно.

— Так, так... Дальше... дальше...

— Дальше. Мы бунтуем... Бунтовщики выделяют к вам вот эту делегацию. Делегацию от перерождающихся, выпеченных в фабзавуче «бурсаков». Нам предложено требовать, чтобы из нас настоящих и будущих выпекали хороших строителей родины и пролетариата. А то в классах и мастерских...

В этом месте наша чинная речь разбивается на отрывочные реплики каждого.

Рассказываем о классах, мастерских и о самих себе.

НШУ на своем лице меняет цвета, как сигнальный фонарь — на белый, зеленый и красный, и щепит линейку на деревянные нитки.

— Точка. Это хорошо, что вы так разволновались и пришли. В своей горячке, конечно, много преувеличиваете... Теперь моя очередь ругаться. Вы — комсомольцы? Комсомольцы. Что вы сделали, чтобы этого не было? У нас 70% комсомольцев. Чем они отличаются от остальных?

— Подождите... Когда дело идет о нашем коллективе, мы вам как партийцу, не скрывая, можем сказать. Да вы обязаны были знать и сами... Мы разношерстные, съехались сюда со

всей линии — из будок, детских домов, сторожек, казарм... Нам сразу же в коллективе вторкнули анкеты — «Заполняйте, ребятки». Заполнили. Потом, ничего не объяснив, гуртом принимали. Отсюда все последствия. Некоторые до сих пор не понимают, почему все-таки они в комсомоле.

— Хорошо. Но не все же у вас такие. Жду помощи от актива, а он в сторону от администрации, повидимому, самостоятельность сохраняет.

— Я слишком занят... больше ношусь по заседаниям, по другим работам, чем бываю здесь. До сегодняшнего дня уверен, что на общем фоне фабзавучей не так уж у нас плохи дела, хотя знаю, что педагоги из старых школ. Мастера — простые рабочие, которые могут дать только производственные навыки. Я даже ставил вопрос об увольнении некоторых, но у них в союзе защита. Найдите вопиющие факты. Вот вы меня чуть не съели. Выступаете целой группой. Об одной неудаче начинаете кричать, ругать кого ни попало. В работе бывают ошибки. Ко всему надо относиться хладнокровно. Вы ведь не знаете, с каким трудом все нам достается. По вашим словам, у нас никаких проблесков. Сейчас мы инструктируем мастеров, они создадут ударные бригады. Вот где себя покажите. Выполните до срока свою программу, а потом уж указывайте. Тогда я буду знать, что имею дело с серьезными людьми. А сейчас вы просто под настроение попали. Кто-нибудь сказал слово, а вам показалось, что и в действительности так. Я постараюсь разгрузиться. А вы почаще посещайте этот кабинет. А то мы плохо знаем друг друга. Вынесем то, что можем исправить сами, на обсуждение некомпетентных людей. Теперь давайте подумаем, что нам на первых порах надо.

Пыл наш охлажден. Мы готовы организовать союзную армию.

— Так... У вас уже есть группка. Смотрите, чтобы это не вылилось в простую травлю, чтобы ребята не распоясывались. Главное — дисциплина. Что сейчас надо организовать? Коужок по детальному практическому изучению паровоза. Улучшить преподавание технологии. Общежитие не в порядке?.. Хорошо...

НШУ записывает, а мы вытаскиваем всю труху за уши, которую надо проветрить или в дезинфекционную камеру отправить.

— Ну, спасибо, товарищи... Заходите.

Он смотрит на усаые часы.

— Опять опаздываю... Знайте, я ваш сообщник.

НШУ устало улыбается и жмет всем нам руки. Потом нажимает на кнопки вызывных звонков с надписями: «завмаст.» и «завуч».

В коридоре встречаем флегматичного завмаста, неторопливо шагающего к НШУ.

— Иди, иди в развалочку. Он тебе придаст прыти.



В борьбе для решительного боя мобилизуются все силы и технические возможности.

Мы растем по-партизански. — Рев жести и кислотные запахи жестяничкой выделили от себя четырех девчат. Кузница отбухала двойку верзил. Столярка выстругала пару припудренных опилками модельщиков. Юрка притащил своих приятелей — грязных, со свистящими брезентовыми брюками паровозников.

30 человек! Это уже армия.

Каждому работа по его способности. Готовим сокрушительный удар — подкоп под «бурсу» со взрывом изнутри.

Бывшие отъявленные «бурсаки» теперь стойкие командиры партизанской армии.

Тольке поручено командование над композиторско-музыкальным отрядом. В честь этого ему преподнесено боевое оружие — новая гитара.

Гром — командир разведочно-литературного отряда.

Нина и Бахнина руководят артистической пехотой.

Для Чеби и Шмота остается «обоз» — снабжение билетами и шамовкой.

— Главный штаб — «гарбузия».

После семи часов «гарбузия» плавает в дыму и звуках нелегкой войны.

Мой отряд за столом. Правый фланг — драматурги, левый — стихоплеты. Передняя линия — разведчики во главе с Юркой. Они продираются сквозь чащу еще дикого материала.

Все сведения разведки идут к командиру, а от него на фланги, для детальной обработки.

В траншеях — между коек, вздыбив волосы и притопывая ногой, командует Толька, создавая симфонию боя.

Наши стихи-сценки они муштруют — обучают топтать под музыку.

Тринкают, звенят, зудят через гребенки и издают еще какие-то подозрительные звуки.

Готовый материал эвакуируется в тыл — в комнату девочек.

Новый технически усовершенствованный транспорт представляет Шмот. Он носит бумажки в «артистический лагерь», где новобранцы еще неумело грохают тараторию передовицы. Там каждый рядовой стремится подготовить себя в команды своей сценки.

Чеби и Грица сидят в ванной и чинят аппарат для световых эффектов.

В десять часов сигнал — общий чай и обсуждение боевых операций. После чего проверка голосов в песне — джаз-банд или проверка глаз, слуха, ощущений, вкусов — в кино или клубе.

В 12 часов «спа-ать... спать, по палаткам».

Завтра ждет с утра мирный труд во вражеском окружении. Разведочная работа. Изучение вражеской техники — бойцы старательно должны следить за живыми героями будущей постановки, изучая их движения и интонации голоса.



Немного оторвано как-то от коллектива мы действуем. Надо поговорить с Жоржкой.

— Что ты обвис?

Жоржка откровенничает.

— В райкоме говорят, что работать не умею. Зеленин от партейки мурыжит... Вам хорошо, на производственную пошли... Эх, мне бы сейчас помахать. А тут бегай, царапай бумагу... совсем запарился. Ведь говорил, что с меня толку не выйдет... Взяли, поставили в отсекры... Теперь факт — снимают.

— Жоржка, а ежели мы... ну как ты на нас смотришь. С комсомольской стороны?

— По уставу вас как будто гнать надо... Трепличные здорово. А ежели по-свойски, так ребята хоть куда. В общем в этих делах я отсекрые ноги и обломал.

— Переходи, Жоржка, на нашу сторону. Поможем... Нельзя же нам все время партизанить, пора бы и в узаконенную регулярную армию превратиться.

Жоржка щупает мой затылок.

— О чем ты мелешь?

— Приходи вечером в «гарбузию», узнаешь.

— И то верно. В общежитие необходимо слазать. Отсекр, а за четыре месяца ни разу не зашел... Э-е... Друг, куда?.. Помоги-ка мне этот протокол обтесать. В райком пойдет.



Есть гипотеза, что человек произошел от рыб. Конечно, Нина — рыба, рыба с холодной кровью.

— Ры-ба-а-а-а...

Хотя кто ее поймет, другой раз любой обезьяне очко даст. Рыбо-обезьяний человек!

Ну, чего она загибается? Почему не подходит ко мне?

Мне, который... ну да, любит, — говорит то же, что и всем и одинаковым голосом. Тыр-тыр-тыр и ходу с Бахниной.

Подумаешь — Венера. Подожди. Теперь я буду человеком, предком которого был полярный лед... Да, да, дружить мы с ребятами сможем. А особенно сейчас.

— Что ты, Гром, бормочешь?

Тормозит Бахнина. Нина сердито поворачивается:

— Сидит, как мумия на репетиции. Видит, что мы на одном месте топчемся, не можем никак выходы выучить, а он только смущает, да губами шлепает. Или уйди или помогай.

Бахнина защищает.

— Ну, чего ты на него набросилась? Он отдохнуть сюда зашел. Ты, Гром, все-таки поговори с Тахом. Нам одним справляться трудно, может он опять с нами... Говорят, что в армии хорошим режиссером был.

Я спиной к Нинке, лицом к Бахниной.

— Так ты бы раньше сказала. Он уже спрашивал, как дела, да я боялся вас обидеть.

Нина становится рядом с Бахниной. Губы ее сжаты и вздрагивают, глаза темные как озеро в грозу, лицо в вызывающих пятнах. Все это точно говорит: — «злись, злись, мне от этого ни холодно, ни жарко», а может другое в них — «ну чего ты чудачишь, я и так здесь издергана».

Пойми этих девчонок: губы иногда вздрагивают от того, что плакать хочется.

— Ты обязательно с ним поговори, а то завалим все дело.

— Я пошел... Смотри, как она... того и гляди испорошит.



НШУ действует. На заводе к фабзавучникам прикреплены инструктора, станки, верстаки и места.

Паровозников по очереди берут на паровоз помогать помощнику машиниста. Допустили участвовать в серьезном ремонте.

Литейщики получили лоснящиеся от полировки производственные модели. Мы их как большую ценность любовно обтираем, кладем на доску, присыпаем, как маленьких детей лекоподием, и сверху засеиваем мягкую землю. Осторожно даем выпара.

Отливка выходит голубой и гладкой — жалко под резец пускать.

Старые производственники усаживаются у наших отливок на короточки покурить. Ворочают их, продувают. . .

— Смотри. . . как они их.

А мы от гордости еще усердней трем модели, трамбуем и режем литники.

— Они ж уйму времени тратят. Дать бы им на выработку. . . так вместо двойного клапана у них ружье получится. Браку изваляют. . .

— Подожди, дед, пророчить. Увидишь нас и на сдельной. . . собьем расценки, тогда будет тебе ружье.

— Хвались, хвались, только лет десяток придется погорбатиться, чтоб мне расценку сшибить.



У большинства педагогов в лицах сахалинский холод. Они усердны и не в меру строги. В перерывах как рыбы — ни одного слова ребятам. Даже «фокусник» дядя Митя стал придирчивым. Но он приучил к другому, поэтому вся его серьезность колеблется на глиняных ножках. Смехота. От своей серьезности он немного грустен.

— Дядя Митя, ты что-то испортился, фокусов не показываешь, — с обычным нахальством и фамильярностью пристал Ходырь.

— Не «дядя Митя», а Дмитрий Платонович!

Сверкает льдинками очков напыжившийся фокусник.

Класс брызнул смехом.

Дмитрий Платонович от досады хотел было взмахнуть рукой, но доска услужливо подставила свой деревянный угол под взмах. . . Костяшки рук, гулко ударившись, обвисли.

Он, растерянный, садится уже прежним дядей Митей, которому хочется что-то тайное сказать классу.

— Да. . . да. . . Теперь наши отношения изменились. За

все пятнадцать лет моей деятельности никто никогда не жаловался начальству. А вы за мою доброту сделали это.

Ребята в недоумении.

— Кто фискалил?

Лица никого не выдают.

— Это не наши, дядя Митя... Вы слесарей, у них там много разных.

— Я и то думаю, с чего бы... Жили как будто по-семейному... И вот на... Начальник так и говорит «на вас жалуются ребята, что у вас не уроки, а офицерский клуб с анекдотами»... Я понимаю вас. В семье не без урода, найдутся и такие. Может они и здесь сидят, да мы не замечаем.

Мне, наконец, надоедает это. Встаю.

— А все-таки, Дмитрий Платонович, пора бы и физикой заняться.

Фокусник вспыхивает, встает, застегивает френч. Несколькими минутами в недоумении молчит, потом яростно:

— Ходырев, чего вы вертитесь!.. Идите к доске.

Он нервно трет очки. Ребята очумело смотрят на меня.

— Тебе что — больше всех надо?

— Ну и дура!

После звонка часть остается утешать дядю Митю.



От Юрки рапорт:

— По сведениям разведки обнаружено:

1. Второгодник Стахов на уроке математики прервал блатовню математика о его похождениях в университете возгласом: — «А когда же мы приступим к квадратным уравнениям?» Тот взбеленился и отметил в параграфе примечаний недисциплинированность Стахова.

2. Модельщики на уроке родного языка подали запиской вопрос Медведеву: — «Когда вы начнете современную литературу и когда кончатся ваши излияния о возвышенной, всепоглощающей любви героев Тургенева?» — Медведев раскрылся: — «Я не допущу, чтобы меня учили. Я беззаветно работаю, даю учебникам материал более широкий, чем перечисленный в программе. На вашу группу буду жаловаться заведующему учебной частью» — и вышел из класса.

(Побочные сведения для ведущего роль Медведева в постановке: Прозвище «Дыр-доска», на носу еле держится пенсне с черным шнурком. Волнуясь, слизывает с пальцев мел. Правое плечо выше левого. Захлебывается, говоря о рус-

ской широкой натуре, о большой возвышенной любви. До безобразия предан классикам и ненавидит современных писателей. О них говорит с кислой миной: — «Конечно, это не литература... неграмотная грубая барабанщина». Последнее время подозрительно косит на класс глаза.)

3. Ребята в классах делятся на три лагеря: один — «золотая середина» — ни вашим, ни нашим. Другие окрысились на наших.

Пойманы две реплики:

Первая — «Поряdochные... Сами первые хулиганили на уроках. А теперь выдвинуться хотите. Кляузники... За это в темную дают!»

Вторая: — «Хватит, ребята. Самим же интересней дурака валять, чем сидеть да долбить».

4. Сотков собирает группки и о чем-то с ними сговаривается.

— Ну как, товарищ командир?

— Молодцом. Такой рапорт можно целиком вставить в инсценировку.

— Так я, Гром, с тебя и слизываю. Разве не узнаешь свой стиль?



Жоржка и Тах, точно сговорившись, явились в «гарбузию» одновременно в самый разгар работы.

— Здравствуйте, товарищи!

Мы вытягиваемся по-военному.

— Здра!

Они обходят стол, заглядывая в листки, и садятся у «траншей» музыкантов.

— Ваши все в этой комнате?

— Нет, здесь только треть.

Тащим их в «теа-лагерь». Там под гармошку привлеченного «ярунка» разучивают былинку о боях и дуэлях на спорт-поле наших «чудо-богатырей», дерущихся из-за девчонок.

Тах подмигивает своим глазом:

— Очень неплохо... очень...

И машет рукой вместе с героями. В нем заговорил бывший режиссер, который заставляет его бросить пальто на стул и врезаться в гущу артистов.

— Остановитесь... В этом месте лучше сесть так и дать более спокойный былинный тон... Ну вот... так, так... хорошо... Теперь перейдите на ту сторону...

Нина и Бахнина сдают свой пост режиссерства.
Жоржки нет, куда-то улизнул.
Поискали.
— Нет Жоржки. . . Черти на игрушки унесли.
Идем работать в «гарбузию».



Жоржка, обнесенный снежным пухом, запыхавшийся, вваливается в «гарбузию» и вытаскивает из-под пальто настоящее «банджо» — обтянутое, как барабан, ослиной кожей.

В «траншеях» ликование. Жоржку сажают в центр. Повеселевший Толька поднимает над головой руки и по-вороньи взмахивает. . . Оркестр грянул «тарантеллу», где «банджо», как водитель, своим бумканьем нагоняет темп.

Девять часов.

— На чай!

На лбу Таха бисер прозрачного пота. Ворот расстегнут до-нельзя. Он потерял руки, запихал пол-бутерброда в рот и запивает его большим глотком чая.

Жоржка с туго набитым ртом блаженно улыбается.

— У вас прямо коммуна какая-то.

После чая они ловят Чеби и суют ему деньги в «шамкасу» и «культфонд».

— Вноси и наши фамилии в ваш список.

В десять часов уходим в клуб на спортвечер.



Юрка купил толстенную тетрадь и все сведения, нужные и ненужные, заносит туда. Старается подражать Грому — надо же его перещеголять.

ЯНВАРЬ 18.

1. Между 11 и 12 часами обнаружена в стенгазете, выпущенной сотковцами, заметка:

«Одернуть зарвавшихся».

«Так называемые гарбузовцы нашли новый способ хулиганить. Своими репликами во время уроков они срывают программу и вызывают враждебное отношение педагогов к ученикам.

Особенно в этом отличается их предводитель А. Гром.

Такое явление считается ненормальным. Бюро коллектива, дай по лапам зарвавшимся.

«Группа актив».

Как это Гром в предводители шопал???

2. По мнению разведочного отряда к положительной части больше всего подходит Осип Андреевич. Его предмет — научную организацию труда — мы усвоили лучше, чем другие. Теорию сможем применить на практике, так как все иллюстрировалось практической работой и моделями О. А.

Перед кем-нибудь другим, не зная урока, начал бы вертеть хвостом, да врунину замечать, а О. А. стыдно соврать, потому что он в тебя верит. Говорит как равный с равными. На его вопрос — «Как! У вас нет работы? До этого времени вы были у меня на лучшем счету», почти каждый отвечает: — «Завтра я вам ее принесу... не рассчитал время...» Он запишет в блокнот и скажет: — «Во столько-то жду». Ребята разбиваются в лепешку, а заданные им уроки готовы. Не выполнить работу О. А. нельзя, каждый боится потерять его доверие к себе. Он ко всякому из нас очень бережлив, еще никого из нас он не унижал. Его выговор слушаешь как должное.

Его простые слова: — «Проверьте хорошенько, вы увидите, что не так. Напрягите мозг как следует. Стыдитесь показывать меньше того, что знаете» — заставляют самых ярых симулянтов и лентяев просиживать ночи за тетрадями. С ним можно побеседовать по душам, как с товарищем. Поэтому многие ребята даже с комсомольскими неладами лезут к О. А. Он сделал переворот в рабочих ящиках слесарки и модельной. Теперь весь инструмент лежит в определенном порядке. По своей собственной инициативе О. А. водил ребят подряд три выходных дня на промышленную выставку. Тормошит и других педагогов.

Вот кто должен быть завучем.

(Ведущему роль О. А.: — высок. Часто отбрасывает рукой волосы. Резок в движениях. Любит порядок, точность и фразу «очень неплохо». При разговоре смотрит в глаза, точно хочет залезть в тебя. В классе в рабочем халате. Сам работает и требует работы от других.)

ЯНВАРЬ, 19

1. В девять часов утра второгодники литейного цеха передали по вентиляции:

— Алло! «S. O. S.»! Найден третий полюс. Все экспедиции направлять в литейный цех. На-днях появятся белые медведи. Пароотопление не работает...

После сообщения литейщики забрались в сушилку. В сушилке мастер всякую врунину порол, а потом взялся за похабные анекдоты. Заслушались до того, что не заметили, как кто-то закрыл железную дверь на засов.

Завмаст после долгих поисков литейщиков услышал храп из пароотпальной камеры. Там спали двое. Стали искать других. Через полчаса по заглушенному шуму из сушилы нашли остальных.

Мастеру вынесен выговор с предупреждением за потерю рабочего времени. Ищут закрывшего дверь.

В литейке чинят пароотопление.

2. С неизвестной целью Чеби все время исчезает к жестяни-

цам. Вьется около Зинки — «агитпопа жестяного». Агитирует или втирался... (?)

Признаки: часто моется, завел носовой платок. В цеху таскает кашнэ на шее.

3. Сегодня в коллективе Жоржка отчитывал Соткова. Оба разлаялись в доску. Слышно было в коридоре. Когда мы вошли — они замолчали.

Сотков, уходя, таким это наркомовским тоном — «Большинство будет против. Я лучше знаю массу». Хлопнул дверью.

ЯНВАРЬ, 20

1. Оказывается, Сотков еще в прошлом году выбран председателем ШУСа. А что он делает? О ШУСе все уже забыли. Нужен ли он? Если не нужен — зачем выбирать председателя и в классах исполбюро, которое берет пример со своего преда (простите, ребятки, в философию ударился).

2. Педагоги уходят из фабзавуча тютелька в тютельку — ровно в пять. Целых две недели у них нет ни одного собрания. Учились бы у нас.

3. Наконец, появилось объявление о начале записи в политкружки. Только запись!



В литейный цех паровозоремонтного завода каким-то изобретателем сдана для отливки тонкая модель станины «универсаль».

Модель прошла по всем обожженным грязным рукам производственников. Ее вертели, трогали и крутили головой.

— Нельзя за такую цену. Тонкая очень. Времени сколько отымет... браку не оберешься.

И передавали дальше.

Мастер цеха разозлился. Раздул ноздри большого греческого носа и ткнул модель рыжему верзиле Глухову.

— Делай... смело работать надо.

Глухов мрачно вертел ее, плевался... И только с обеда он начал формировать, обкладывая каждый срыв нью-иоркскими небоскребами.

После заливки все столпились у опок Глухова. Он раскрыл их и каркал:

— Брак... Брак... — И неистово ругался.

— Да ты бы ее формировал стоймячком.

— Можно с рамкой, глинки подмазал и будет держаться, не смоем.

— Солдатики, заколочек наставь, да припыли графитцем.

— Ты ее вот этак... видишь? Так поставил, сюда шипечка. Выйдет, даю ногу на отсечение.

На другой день, наслушавшись советов, Глухов применил все способы ускоренной формовки. Но после заливки так же каркал:

— Брак... Брак, в небоскреб бога...

Он с ненавистью взял модель, испещренную тонкими знаками, как тяжелое заклинание, и снес в конторку.

— Или расчет или другую работу. С этой моделью с ума сойдешь.

Модель осталась в конторке.

— Ребята, давайте теперь покажем им «сосунов».

Тюляляй сбегал к мастеру и выпросил модель.

Возились с ней целый день. Заглаживали срывы, вмазывали крупинками землю. Закрепляли колышками, шпильками. Обсуждали, как лучше поставить выпар. Выбрали лучшие шишки и тщательно их вмазали.

Заливали осторожно — так только можно отливать иголку.

И когда открыли опоку, счистили серую горелую землю, Тюляляй плясал как помешанный.

— Вышла! вышла, елки зеленые.

— Эй вы, сосуны усатые и бородатые, учитесь как работать надо!

Рыжий Глухов сгреб Тюляляя за шиворот и поднес к носу кулак.

— Чего орешь или хочешь, чтоб с цеха выгнали?

— Ну, ну... осторожней. Спрячь в карман свою кулачищу, а то намахаешься.

Надвинулись на него все мы. Глухов оттолкнул Тюляляя и, вращая белками, шипел сквозь зубы:

— За энти штуки за воротами морды бьют.

Старый худощавый литейщик успокаивал его:

— Плюнь. Береги свое здоровье.

А нам шопотом сообщил:

— На вас будут как на собак... ежели вы так. Нельзя подводить цех. Это у нас не любят.

— Полюбите. Ведь мы «сосуны».

Утром отлитая станина превратилась в грудку безобразных осколков. Браковщик за поисками «соловья» «нечаянно» разбил ее.

Тюляляй сел у чугунных черепков, сложил из них ломаные контуры станины и заплакал, как маленький.

В Юркиной тетради об этом было записано:

ЯНВАРЬ, 24

Превосходные силы литейщиков «потерпели победу» в мастерских. Сумели отлить такую модель, над которой парился цех. Но они не выиграли, а потерпели, так как модель была разбита.

Наши ребята возмущаются по всем цехам. Литейщиков взял под защиту мастер цеха. Браковщика к их отливкам больше не допустит. Принимать будет сам мастер.

ЯНВАРЬ, 26

1. Литейщикам отлиты две станины «Универсаль». Ребята загнулись.

2. Грицка выдумал какой-то план наступления «сосунов» на производство. Носится с ним, как угорелый. Завтра паровозники обсуждают его.

3. Гром сжег Шмотовскую литературу. Будет снабжать его своей.

4. У Соткова на квартире произошла попойка. На восьми извозчиках, как пьяная свадьба, они разъезжали по городу и орали с девушками песни. Попали все в милицию.

5. Завтра Жоржка собирает экстренное бюро коллектива.



— Фабзайцы, кто у вас Гром? Прсят к телефону.

Старается перекричать шум цеха табельщица. Обтираю о спецовку руки и бегом в конторку.

Телефонная трубка стрекочет:

— Сегодня постарайся освободиться пораньше. Приходи в коллектив. Срочное дело...

— Кто говорит?

Но в трубке уже только потрескивание и храп мембраны, переходящий в мелодичный голос женщины из радицентра, напевающей о звездочке, что одиноко блестит в вышине.

— Фу ты... кто там горячку порет. Надо отпроситься.

Мчусь, захлебываясь морозным воздухом, в фабзавуч.

В коллективе сидит набычившийся Жоржка, а перед ним жестикулирует Нина.

— Надо себя и держать отсекром... не прислушиваться то к той, то к другой стороне. Они тебе наговорят...

— Заступись, Гром, от нее прямо спасу нет. Целый час крошит. Сам не рад, что вызвал.

— Только для этого я нужен?

— И он тоже... Нет, вы не то все, ребята... Нам надо заранее обсудить дело Соткова. А она вот надела: «Плохо

работаешь. Наказы партячейки не выполняешь. Жоржка чуть не самый захудалый отсекр в области» — и тащит сейчас к Зеленину.

— Можешь не итти. Я сама к нему пойду.

— Сама, сама... Идем втроем.

В столярке запах клея, сосновых стружек и древесной пыли. Зеленин стоит у зубастой ленточной пилы и чертит циркулем на фанере.

— Здорово, ребята! Идите в конторку. Сейчас освобожусь.

В конторе мастера стены облеплены полками. На полках работы ребят по годам, тетради, характеристики; над столом список заданий.

— Зеленина модельщики хвалят. Деловой дядя. Видишь, какой у него порядок... в кузнице этого не устроишь.

— Почему это не устроишь? — опять насаждает на Жоржку Нина.

— В кузнице условия... Да и Палыч какой-то не такой. Спроси у Грома, разве в литейной устроишь такую историю... От одной отливки все полки затрещат...

— Ты брось о полках. Я о методе и о твоей куриной слепоте...

Входит Зеленин, снимая на-ходу очки в жестяной оправе.

— Спорите. Хорошее дело.

— Да это она, я не спорщик... А в общем мы за делом. Говори, Шумова, ты бралась крыть.

— Вот что, товарищ Зеленин. Я давно хочу подымать бузу. Почему это вы, как ячейка фабзавуча, мало вмешиваетесь в работу комсомольского актива? Прикрепили Никандрова дремать на наших заседаниях. Получай, мол, комсомол, партруководство...

Жоржка перебивает:

— Брось, Нинка, перехлестывать... Ты не знаешь положения... Я сам хожу на бюро ячейки. Кто, по-твоему, меня накачивает?

— Кто бы тебя ни накачивал, а факт тот, что ты парисься... А кто должен тебя выправить? Был ведь отчет партприкрепленного. Сказал ли ты что-нибудь тогда, что он слаб для нас, что в наших условиях неработоспособен? Можешь не отвечать. Я знаю, что ты сидел тогда памятником и только изредка поддакивал.

Жоржка машет рукой и морщит лоб — «Мол, давайте теперь все на отсекра валить, у него спина крепкая». И оба молчат.

Зеленин в недоумении.

— Подождите, как это Никандров неработоспособен? До сих пор я знаю, что у вас с ним работа налажена. Жоржик всегда говорил — «у нас все согласовано». Я сам Никандрова накачивал.

В конторку боком пролезает запыленный опилками столяр первогодник.

— Товарищ мастер. Тут у меня переточилось.

А за ним вбегает разгоряченный монтер:

— Товарищ Зеленин, это ж безобразия... Вы на конфликтной комиссии постановили, а НШУ опять не хочет оплачивать сверхурочных... Тогда я буду бросать работу в пять часов. Это что ж такое!..

Зеленин берет запоротую первогодником работу и поворачивается к нам.

— Вот что, ребята, о наших делах мы потолкуем вечером. Я приду сегодня на ваше бюро... Здесь, видите, меня каждую минуту требуют.



ЯНВАРЬ, 27

Жоржка учится работать: — вызвал поодиночке членов бюро в коллектив и подготавливал к заседанию. На бюро приглашены: Гром, Бахнина, Шумова, Чеби, Грица и я.

На наше заседание пришел секретарь партячейки — мастер Зеленин.

Бюро собралось все, за исключением Соткова. Сотков не захотел идти. (Чеби — бродяга — так и вьется около «агитпопа жестяного».)

Решения бюро:

1. Поставить перед пленумом коллектива вопрос об исключении из комсомола Соткова, как разложившегося. Временно на работу агитпропа выделить Бахнину и на собрании провести в члены бюро.

2. Ю. Брасову организовать в фабзавуче группу «легкой кавалерии» для обследования работы цехячеек. Связаться с районной «легкой кавалерией».

3. Редактором «стенгазеты» выбрать второгодника кузнеца Лобова. Грома прикрепить для помощи в работе.

4. Предложение паровозников поставить на обсуждение пленума.

Все бюро ходило смотреть нашу работу в «гарбузию». Посмотрели и остались. Каждый взял себе работу.

Подозрительно вот что — почему это «агитпоп жестяной» захотел работать в «обозе». Не иначе как агитация Чеби. (Не думайте только, что я записал это все из-за того, что меня выбрали в «легкую кавалерию». Все записанное — исторический факт.)

ЯНВАРЬ, 28

1. Наша армия несет потери. На уроках педагоги режут во всю. Никто не выручает. Подсказывают кому угодно, только не нам. В классах три лагеря.

Пусть не подсказывают, наши ребята будут лучше учить. Знанием заткнут всех.

ЯНВАРЬ, 29

1. Сотков потемнел и облез, как кот в кочегарке. Не стеснясь, настраивает против нас и бюро ребят. — «Меня будут исключать на пленуме, потому что Жоржка начал шпанить с «гарбузовцами». Под их дудочку пляшет, сволочью стад. Начальству ребят продаст. Я это так не оставляю. Я в ЦКК пойду».

«Сотковцы» подпевают.

Ну и пленум будет!..



Первые ряды наши. Дальше «золотая середина». «Камчатка» занята «сотковцами».

За столом Жоржка.

— Назначайте кандидатуры преда и секретаря.

Открывается зверинец. Зало ревет на разные голоса.

— Бахнина!

— Ходыря!

— Сотков!

— Ходырь!

— Хватит. Голоснем.

— Бахнина!

Ощетинились руками передние ряды и маленький островок в середине зала.

— Ходырь!

Непроходимая чаща рук от средней полосы до последнего «камчадала».

— Сотков!

— Меньше... Пред — Ходырь, секретарь — Бахнина.

Зало радостно ржет. Штатный трепач Ходырь напуган до-нелзя.

Заикаясь и путаясь с непривычки, Ходырь зачитывает повестку дня.

— Изменения или добавления будут?

— Отбавления есть.

— Ходырь, петухом давай!

— Играй на колокольчике!

Треплется середина. На «камчатке» мяуканье, хохот и свист.

Ходырь бьет колокольчиком о стол и заливается смехом. Жоржка кричит, но его никто не слушает.

Бахнина вырвала колокольчик от Ходыря, стала перед столом, сложила руки рупором и кричит:

— Ребята, если это не прекратится, бузотеров буду записывать и список передам на бюро. Это не пленум, а...

Середина утихает, а «камчатка» рычит.

— Заткнись! Ты не председатель.

Передние ряды поднялись ежом. Несется холодное и грозное:

— Выгнать из зала трепачей!

И середина шипит:

— Ти-ше! Хватит, ребята.

«Камчатка» уже не орет, а только возится и смеется.

Бахнина, всунув Ходырю карандаш, остается за председателем. Ходырь гримасничает и сосет карандаш.

— Слово Грицке Иванову.

«Камчатка» злорадствует.

— Ага-а... Гарбузовцы уже в докладчики пролезли.

Грипина физиономия пятниста, как никогда.

— Ребята, у паровозников разработан проект...

— Вумно начинается...

— Про-ект!.. Го-го-го-гы-га-а!

— Успокойтесь, ребята, я коротко. Нас называют производственники «сосунами», смеются. Мы парились много, но мы можем, если захотим, показать себя с хорошей стороны. Литейщики уже доказали это. Несколько паровозников выдвигают на ваше обсуждение вот что: — нам надо доказать, что мы можем работать не хуже производственников. Нам нужно выхлопотать разрешение и взять из паровозного кладбища самый никудышный паровоз и только своими силами отремонтировать. Если дружно возьмемся, да в ударном порядке, так дело выйдет. У нас будут модели, отливки,ковки, — свои слесаря, паровозники, столяры. Вот и все.

— Правильно! Молодцы!

— Ай да изобретатели!

— Ребята, так как у нас есть еще важный вопрос, я предлагаю это дело сегодня не разбирать, а детальней обсудить по цехам. Надо привлечь и беспартийных. Организатором выделить Грицку.

— Долой гарбузовцев!

Уже середина кричит на «камчатку»:

— Заткнитесь, а то выведем.

— Голоснем за Грицку.

— Большинство!

— Следующее слово от бюро коллектива Жоржке.

«Камчатка» шумит. Жоржка ударяет ладонью по столу. Стол скрипит. Ходырь испуганно косится на него.

— Кто не хочет слушать — уходи! Останутся настоящие комсомольцы. «Камчатка» бузит, а кто вы думаете заправляет ею? .. Кто подстрекает бузотеров? .. — Агитпроп Сотков! Мы пришли сегодня сюда не чикаться. Я ставлю перед пленумом вопрос серьезно. В районном комитете говорят о нашем коллективе, как о самом никудышном. Мы дождемся того, что нас распустят. Вы знаете, что один я без вашей помощи ни черта не могу сделать. А как вы мне помогали эти четыре месяца? Кто выполнял как следует свою нагрузку? Жоржка, мол, освобожденный — пусть за всех отдувается. Получилась не коллективная работа, а однолошадное хозяйство. Поэтому на последнем бюро вопрос был поставлен так: или работаем или скажем в райкоме, что не хотим быть в комсомоле. На бюро поругались и поговорили по душам. Всю работу необходимо перестроить, а комсомольцев поставить на ноги. Зарвавшийся и обленившийся актив отстранить. У нас достаточно еще невыдвинувшихся ребят, которые желают работать.

— Не гарбузовцы-ли? ..

— Да! Хотя бы они, товарищ Сотков. Посмотри, какое хорошее ядро они сколотили вокруг себя. Ребята бросили тряпачню, объявили себя ударной группой и по-комсомольскому взялись за серьезное дело.

Сегодня же ставим вопрос о нашем агитпропе. Парень грамотный, работу бы мог вести, сам добивался ее... Должен бы показывать пример другим... А он устраивает попойки. Гулянки у себя на дому. Политкружки не работают. Здесь вина и моя, но я завален другой работой — верил Соткову, который все время успокаивал: «все организовал и приступаю к занятиям». Культработы совсем нет. Вместо этого он зани-

мается склокой и демагогией... К тому же последняя пьянка с ночевкой в милиции. Впрочем, вы сами о нем больше скажете.

Решение бюро таково: снять Соткова с работы и поставить вопрос об его исключении.

Вылез из «камчатки» «сотковец».

— Ребята, вы слышали, как пел Жоржка. Мы знаем, что они давно травят Соткова, потому что он первый восстал против гарбузовцев. Парень раз выпил, случайно в милицию попал. За это другим ничего не было, а к Соткову придираются, потому сразу и греют. Сотков больше всех имеет авторитет среди нас. Мы постановим оставить его.

— Правильно! — гудит «камчатка».

Вылез столяр из середины.

— Ребята, вообще и всегда я считаю, что здесь виновато бюро, которое не проверяло работы. Вообще и всегда само лодыря гоняло. О Соткове и говорить нечего, все знают его как подлизу. Давно надо было гнать. Вообще и всегда раз назвался активом — так подавай пример другим, а от него вообще и всегда какой пример?

— Сотков пусть скажет!

— Соткова на сцену!

Сотков держит голову высоко и надменно.

— Братишки... Может я и виноват, что раз за всю жизнь выпил...

— Врет, не раз. Я сам его три раза видел пьяным.

— Ты говори фактами, так тебе никто не поверит. Дата, свидетели... Вот что! Жоржка все время был со мной хорошо, а когда связался с гарбузовцами, так я уже «не работаю» и чуть ли не разложился...

— Не чуть ли, а так и есть! Я был на твоих вечеринках.

— Ребята, чего вы его слушаете? Время теряем — нам же надо обсудить будущую работу. Соткова все знаем. Голоснем и баста.

— Я могу кончить, но вопрос о коллективе будет стоять в райкоме.

Сотков гордо зашагал на место.

Желающих выступать хоть отбавляй. Бахнина ловко руководит собранием. Выпустит на сцену «сотковца», а в нахлобучку ему «корателя» из середины и двойку из передних рядов. Получается хлестко. «Сотковцы» поджали хвост.

Когда зачитывается в резолюции пункт — «...Соткова

исключить, предложив в трехдневный срок сдать дела Бах-
ниной...», в зале стай голубей взметнулись крылья рук и
грянули стальным плеском.



Разведка записывала:

ЯНВАРЬ, 31

1. Наша боеспособность выявлена. На пленуме вынесена метро-
вая резолюция. Пункты — пальчики оближешь. Соткову про-
пеллер.

2. Грица бегал к НШУ и вместе с ним поперся к директору
паровозоремонтного завода. Выгорит дело с паровозом.

3. По постановлению пленума для ремонта паровоза создаем
ударные бригады.

ФЕВРАЛЬ, 1

1. В нашем полку прибыло. Изобретатель «Тюрентий» прице-
пился к Грицкиной затее. Бегаёт с ним и хлопочет.

2. Бахнина орудует.

Созвала «агитпопов» цехячеек. Делает культпоход в Музей ре-
волюции. Сегодня первое занятие политкружка. Руковод — Нинка
Шумова.

Чего это Гром вольтанится (?) — пошел на занятие политкружка,
когда там одни второгодники да первогодники. Думалось, что он
шибко грамотный.

3. Чеби отшил от «обоза» Шмота. Орудует на кухне с «агит-
попом жестяным», что Зиночкой прозывается. Шмот «раздутие
штатов» — давно ли это?

Ясно как пуп — Чеби погиб.



Американские темпы. Дни как легкий сон. Негатив памяти
не успевает все отразить, не может запечатлеть быстро мель-
кающие кадры.

Утром работа в мастерских, в три теория в фабзавуче.
В пять кружки. С семи часов возня с постановкой. Спорткру-
жок... кино... клуб... театр...

Вырываем часы от сна.

И все-таки что-то такое тревожит. Нину вижу мельком.
Чтобы насмотреться, заглядываю на ее политкружок. Умная
девчонка. Но что ж это она от меня бегаёт?

А ты, Юрка, от простых сводок развел в своей тетради
подобие летописи. Ну и проныра. Все-таки молодец — все как
на ладони.

ФЕВРАЛЬ, 3

В депо поставлено ломаное ржавое страшилище, которое когда-то называлось паровозом. Нам надо его вычистить и вылечить.

ФЕВРАЛЬ, 4

Захватываем вражеские территории. Паровозники выпросили у «ярунков» комнату. Часть «ярунков» эвакуировалась в другие комнаты общежития. В «ярунии» власть паровозников. Они присоединяются к нам, как союзная республика.

ФЕВРАЛЬ, 5

1. Паровозники жрут, как лошади — Чеби не успевает снабжать. Они не моясь просиживают с «Тюрентием» за книгами и чертежами.

2. Чеби с «агитпопом жестяным» влопались. Я всех засыплю. Как засыпались — записать нельзя.

ФЕВРАЛЬ, 6

1. «Легкая кавалерия» сделала наскок на цехячейки. Работа завалена. В бюро цехячеек много мертвых душ. Бюро обновятся второгодниками. Надо нам помочь.

2. «Тюрентий» как муха увяз в паровозное дело. Не ходит домой. Ночует с паровозниками.

3. Тах говорит, что моя тетрадь войдет в будущий музей фаб-завуча.

Юрка-разведчик — «Легкий кавалерист» — редкий экспонат.

Скоро в писании Грома перешеголая. Выпущу книжку — «Мемуары Юрия Николаевича Брасова».

Вот девчонки будут липнуть!



— Ребята НШУ с Зелениным в общежитии!

— Зови в «гарбузию».

— Здравствуйте, товарищи!.. Пришли посмотреть, как вы здесь живете... Что это, струнный кружок?

— Нет, это подготовка к войне.

Тащим их в «артистический лагерь». Слышно еще за дверьми:

— По лени, пьянке, хулиганству... Пли!

— Бах...

Открываем дверь:

— На «бурсу» в штыки!

— Ура-а-а!

На нас летит колонна свирепых бойцов. НШУ в испуге назад. Развоевавшийся Тах в смущении.

— Извините... Не думали, что появится такой враг...
У нас репетиция.

У НШУ разглаживаются глубокие складки лба. Углы рта поднимаются.

— Что это у вас?

— Сейчас тайна. Скоро увидите все.

Входит к паровозникам. Те плавают в папиросном дыму. В комнате от духоты готовы лопнуть стекла окон. Они так заняты, что нас не замечают. «Тюрентий» заработался вконец. Увидев нагнувшуюся фигуру НШУ над чертежами, он сует листок бумаги и бормочет:

— Свободный?.. Сделай чертеж инжектора для модельщиков.

НШУ берет листок и садится чертить. Зеленин разглядывает чертежи.

«Тюрентий» роется в бумажках и потом вдруг замечает улыбающиеся физиономии, видит, что приказал вычертить не своему ученику, а начальству.

— Это... Это я так... Честное слово вас не узнал...
Думал — они.

НШУ улыбается.

— Ничего. Я привык к черновой работе. Чертеж раз взялся — вычерчу. Завтра утром вам передам. Сейчас нужно сходить в другие комнаты. Интересно вы здесь живете...

Я как гид веду их по узкому пахнущему крысами общежитийскому коридору.

Комната 5.

Девчата готовятся куда-то на вечер. «Малярничают», завиваются, пудрятся.

Комната 6.

У девчат незнакомые парни играют на гитаре и передают им карточки «почты амура».

Комната 7.

Пусто. На столе рыжий кот.

Комната 8.

Сюда переехали «ярунки». Стучим. Там какая-то возня. Шорохи и шопот. В щелках вспыхивает свет. Кто-то матерится. Через большой промежуток выглядывает растрепанная физиономия — увидев НШУ прячется опять за дверь...

Мы напором плеч открываем ее. Три «ярунка» суетятся по комнате, прячут под стол бутылки и закуску. У них в гостях две подозрительных барышни. Дико размалеванные, в мятых

платях. У одной весь глаз тонет в синяке.

«Ярунки» оправдываются:

— Родственники в гости приехали.

НШУ обшарив глазами комнату, ничего не говоря — выходит. У двери записывает в блокнот номер комнаты.

«Ярунки» показывают мне кулаки.

— Сволочь... Не мог предупредить.

Зеленин забирает неоткупоренную бутылку и сует мне.

— Это передашь на ваше бюро. А я на свободе с ребятами еще потолкую.

В других комнатах ребят — кавардак. Играют в карты. Валяются одетыми на постелях. В одной «шахматный матч» — единственный игрок играет сам с собой на нескольких досках. Грязь, мусор. НШУ упавшим голосом спрашивает в каждой комнате:

— Вы заходили в комнату 4 или 16?.. Посмотрите, как там живут. Берите пример... Эх вы, молодежь...

Он опечален. Складки опять застилают лицо.

Зеленин напирает:

— Общежитие совсем без внимания. Надо врача при-
слать...

— Все эта загруженность... Придется наводить снова порядок, нельзя так. Коммуну какую организовать можно... А вы молчите ребята... — Нудно тянет НШУ. Видно, что ему неудобно перед Зелениным.

— Не совсем молчим...

— Мы, бывало...

Он недоговаривает, входим в кухню. Чеби и Зинка — «агитпоп жестяной», — засучив рукава, стряпают ужин и о чем-то весело болтают.

— Начальству привет! Обождите, ужин скоро. А сейчас не мешайте. Заняты.



ФЕВРАЛЬ, 9

Паровозники захватили чертежную. Оттуда рабочие чертежи идут к модельщикам. Модели к литейщикам. Отливку разбирают токаря и слесаря. Кузнецы, столяры и жестяники работают сразу по чертежам. Чудеса. Третий год забыл бузу, все заняты паровозом.

Паровозники худеют. Заударничались.

«Тюрентий» освобожден от уроков. Он все время или в депо, или в общежитии. Совсем к нам перебрался.

ФЕВРАЛЬ, 11

Райком посылал нашу «легкую кавалерию» обследовать фаб-завуч Металлического завода. Там ребята счастливей. Они с первого же года на заводе. А буза почти такая-же. 20% ударников, и то из них часть только на бумаге.

Педагоги, как и у нас — из старых школ. Зато мастера цитовцы. Все по секундомеру проворачивают. Утром есть физзарядка.

Надо с нашим НШУ поговорить.

ФЕВРАЛЬ, 12

Бахнина дрессирует кузнеца второгодника в агитпропы.

ФЕВРАЛЬ, 13

Литейщики взялись за организацию производственной бригады. Записалось восемь человек. Остальные отваливают, смеются над ними. О таких надо ставить вопрос на бюро и месткоме. Шорменное «болото». Недаром бригадники их зовут «морошкой».

Морошка — болотная ягода.



От смеха дрогнули стекла окон, взметнулась пыль со стен. Смеялись до слез, до боли в животе.

Да и как не смеяться! В обед представители «сосунков» объявили, что они составили бригаду и вызывают мастёрскую на социалистическое соревнование.

— Ну и паршивцы! Придумают же.

— Вас бы, ребятки, в цирк, — рыжего не надо.

— Вы меня вызовите на пиво... Кто больше выпьет, бригада или я. — Подмигнул воспаленными глазами чернорабочий с прозвищем «Мурза».

Мы — бригада «сосунков» — стоим у крана, как под знаменем, с серьезными физиономиями, изредка переглядываясь друг с другом. У некоторых нерешительная улыбка уже скользит по лицу, пригибая углы рта. Но в это время по цеху пробегает табельщица.

— Кто не вешал марки? Вешайте.

Литейщики медленно сползают с насиженных мест, комкают бумагу от завтраков. Нам мимоходом бросают обидное:

— Идите-ка подучитесь еще. Рано шуметь начали...

Даже своя «Морошка», отвалившая от бригады, осмелилась и зубоскалит:

— Ну и комики! Натуральные комики.

У Хрупова — бригадира нашего — от обиды в глазах жаркая влага, но он держится. Он будет стоек, будет высоко нести

звание бригадира. Вот и сейчас точно кусок ноздреватого кокса застрял в его горле, но он говорит:

— Пусть смеются, а мы будем... Я теперь все... до последнего мускула отдам бригаде.

Наша восьмерка мрачно берется за приготовления. Мы раскладываем инструмент на специальные полочки, а чаще употребляемый окрашиваем в яркочерный цвет.

Представители «Морошки» не унимаются, их цель — истребить нас тихим хихиканьем, подковыркой. Для этого подсылают чернорабочих. Те будто случайно останавливаются, расширяют «в испуге» глаза и подчеркнуто серьезным тоном:

— В чирика играете? Разве и на работе можно? Шабаш не пробалуйте, а то поздно домой будет.

— Ай-я-яй! Что ж это у вас инструмент в крови или вареньем выпачкали?

Приносят из старого лома исковерканные бронзовые статуэтки, битые колокольчики, ломанные кресты, подсвечники...

— Вот вам еще... Только, чтоб мастер не увидел. В угол поставит.

Мы так же тверды и молчаливы, как эта горка бронзового лома. Размериваем землю, разбиваем на квадраты, раскладываем подмодельные доски.

Завтра утром мы начинаем.



Хрупов во всеоружии — блокнот, карандаш, секундомер.

— С музыкой что-ли часы? — протягивает руку чернорабочий «Мурза».

— Не мешай. У тебя от пива в голове музыка.

«Мурза» не отстаёт.

— Вы бы с кукушкой часы завели, те антиресней.

Хрупов не слушает.

— Подшипник будем формировать четверкой... Становись!

Без возражений, как бойцы, становимся у подмодельных досок.

— Первая четверка... Начи-най!

Проворный Тюляляй быстро укладывает модель, накрывает опоконь... Засеял землю, затрамбовал и подвинул по салазкам доску к Киванову... Потребовалось на это две минуты.

Дальше в блокноте стояло:

Киванов — приглаживание и формовка верхней опоконь—

4 м. 10 сек.

Гром — выемка модели — 2 м. 30 сек.

Тропкин — прорезал литники, накрыл опоку и замазал за 3 мин.

Всего 11 м. 40 сек.

Приблизительно на каждого выходит по три минуты. Хрупов запись ведет дальше:

— после первых двенадцати минут — каждые три минуты дают подшипник.

— каждый час 14 подшипников (9 минут перерыва).

Для равного распределения времени Тропкину прибавляется приглаживание формы, а Грому в случае чего небольшая починка.

Подготовка к работе по-новому отняла уйму времени. Вторая четверка к обеденному гудку успела отформовать только пару сложных клапанов.

Производственники хлопают Хрупова по плечу:

— Слабо состязуетесь!

— Эх, вы, фордовцы! Бить вас некому!

Мы не унываем. Толпимся у раковины, брызгаемся и сегодня уже смеемся. У нас уверенность, что к вечеру мы переполним норму одиночек.



К шабашу девять шеренг квадратных опок заняли весь угол мастерской и как голодные птенцы разинули прожорливые глотки литников.

— Поди, десять потов согнали, чтобы нагнать?

— Эй гляди, сосулька с носу капнет! Заработался, не чуешь! кричат соседи. Теперь мы имеем право огрызаться:

— Не гордитесь тем, что у вас песок сыплется, от него пыль в мастерской.

На следующий день опочные ряды строятся быстрее. Контрольная четверка, набив руку, формирует подшипник в восемь минут. По две минуты на каждого. В 46 минут (14 мин. перерыв) 20 подшипников. Четверка, работающая на сложных клапанах, выставляет по пятку в час.

В цехе тревога.

— Вот шпана, собьют расценки!

— Нужно сказать, ведь сдуру...

Подозвали Хрупова.

— Вы что, ребятки, делаете?

— А мы вызвали...

— Вызвали, вызвали... А кто принимал вызов? Потом сами захнычете.

— Так вы же смеялись, продолжайте, смейтесь, нам не обидно.

— А мы вот чем посмеемся.

Глухов поднес к носу Хрупова громадный, похожий на чайник, кулак:

— Скажи своей шатни, чтоб знали.

— Только за этим и звали?

Хрупов сжал зубы, быстро повернулся и запылал в свой угол. На Глухова обрушились:

— Для чего к парню пристал? С ним нужно по-хорошему... с подходцем нужно...

— Я с подходом и говорю: — коли срежут расценки, всем рожу растворожу.

Ворчит Глухов, набивая ногами опоку:

— Я им старой обиды не забуду.

Мы усердной двигаем опоки по самодельному конвейеру и подгоняем друг друга.

— Жми, ребята. Подшипники для паровозов нужны.

Неуклюжий немец, мастер Хенц, долго следит за нашей работой... Сплевывает длинную слюну и, закулив сигарету, отчеканивает немецким акцентом:

— Хорошо! Я вам буду присылать новые подмодельные доски.

Хлопает Хрупова по плечу.

— Зер гут!

Мы сияем и нагоняем темпы.



Мастер вызывает к себе нашего бригадира. Хрупов занят проверкой работы нового заказа. Иду я.

Канторка завалена горами синих светков чертежей и моделями. Хенц сидит в кожаном кресле. Перед ним лист заказов, на который сыпется пепел с угасшей сигареты.

— Вы видал заказ у Балаша? Пятьсот штук большой батареей для паротепления. Месяц срок. Хороший надо работник. Все лучшие заняты. Балаш очень медленно умеет работать.

Хенц не любит этой спешки. Об этом говорит раскрасневшееся лицо, обросшее бесцветной щетиной. Он сосет безжизненную сигарету.

— Я думал пробовать вас... Вы умно работает. Только молодой у вас люди.

Я молча чиркаю спичку и закуриваю. Хенц свирепо сосет свою сигарету... Просит спичку, но промокшая сигарета не принимает огня. Он сплевывает её и закуривает мою папиросу.

— Вы должны сказать свое слово.

— Мы возьмем. Завтра отольем пробные.

Хенц еще задумывается... Вынимает кружевной платок... И точно с потом смахивает свои сомнения.

— Да... Я поручай ее вам.

В цеху, как по радио, передача:

— «Сосуны» батареи формируют.

— Балаш, держись — конкуренция.

Балаш озабочен.

— Что выкидывает немецкая образина!.. Работу четвертого разряда ученикам дает. Надо посмотреть, как они запаривать ее будут.

Балаш маячит над нами и качает головой:

— Эх вы, ослята долгоухие. Надо же быть барашками, чтоб за такую работу взяться. У меня и то половина браку отливается.

— Попробуем, Балаш. С обеда приходи панихиду служить. Он безнадежно машет рукой и уходит.

Сидит Балаш над опокой, а работа не клеится. Нужно примочить — он припыливает, не зашлифив форму, модель разбивает. Тошно смотреть Балашу на нас, а еще тошнее на стариков, что у третьего крана работают. Там Литкин свою бригаду «старых хрычей» в «фордовцев» превращает. Разбил на звенья, по четверке в звене и новые подмодельные доски потребовал.

Балаш пьет из бака подкисленную воду — не помогает.

— Что, Балаш, нездоровится?

— Да-а... чего-то в горле... желудок немного.

Он разбивает ногой начатую формовку и идет к нам.

— Ослята... Хотите, помогу для первого раза.

— Ну-ка... разве не так?

Балаш устанавливает модель, показывает, как лучше набивать форму, намечает место для литников и выпара.

— Вот так и зашпаривайте.

Потом еще несколько раз подходит, кое-где поправляет... Ползает на коленях, плюет на карасик и подмазывает землю — форму ровняет.

Формы строятся как из-под штамповки.

В цехе удивляются:

— Что-то Балаш раздобыл. Такой скритяга и вдруг — нате.



Утром на нашу бригаду обрушился пушечный гром. Не гром, а хуже: шопот, разговорчики, ухмылочки на лицах производственников.

— Подкачали «сосуны». Хи-хи. . .

Разбираем вчерашнюю отливку, а на ней кресты мелом и надписи «брак», «недолив». Стыдимся смотреть в глаза Хенцу. А тот изображает невозмутимость.

— Мала отдушина. Литник надо толще. Думать надо лучше.

Снова принимаемся за формовку. . .

Пришел старик Литкин. Подбадривает:

— Подыми, ребята, носы, чего там! Наше дело темное. Ко всему привыкать должны. Только подальше от Балаша. Хитрюга парень.

Литкин сел на опоку. . . Задымил трубкой.

— Я, ребятки, к вам за делом. Тогда вот над вами посмеялись. Все-таки поговорил я с нашими. Как видите, тоже обригадился. Дело серьезное и интересное. От вас кое-что перенимаем, а вы может от нас что. . . Так и пойдет. . . Тут дружней надо. Вечером поговорить собираемся. От шишельников тоже придет. Выберите кого-нибудь. Я уж и в комиссию об этом заявил. . .

Зашел и Балаш:

— Неудача, говорите, получилась? Ну, что ж, беда правимая. Перелить — и делов-то всего. . . Э, да что ж вы литники-то по-иному заправляете? Так совсем заперетесь. Дай гладилку, подправить надо.

Протянул было руку, но Хрупов, нагнувшись, хмуро сказал:

— Вали к своей опоке. . . Обойдемся без помощи.

После работы, когда все мыли руки, подошел к Хрупову Балаш:

— Поговорить надо с тобой.

— О чем?

— О деле.

— Говори. . . Я слушаю. . .

— Разговор длинный... Зайдем ко мне...
— Я занят, сегодня у нас последняя лыжная вылазка.
— Лыжи обождут... И гордиться нечего. Чуждаться старшего товарища негоже. Зайдем-ка! Дело общее...
Пришлось итти.



Мы укладываемся спать. Юрка возвратился со слета «легкой кавалерии». У него возмущенная физиономия и злые, как горячие угли, глаза. Он стоит передо мной и не может сказать слова. Сует свою тетрадку.

ФЕВРАЛЬ, 16

«Бригада литейщиков крепка и упорна, как их отливки. Бригадира вырастили на все сто. Бригадир из бригадиров. Каждый шаг — победа. Орден бы ребятам закатить за такое упрямство. Далеко пойдут».

Записки не плохи. В чем же дело?

— А злишься почему? Узнал сегодняшний провал?

— Не узнал, а увидел. Я столько хвальбы закатил, а он, пьянчуга, а может и враг наш... стоит у Домпросвета и... пачкает кровью афишу и орет на всю улицу — «Я продаюсь... За пару пива меняю всю ударную...»

— Ты, Юрка, сам-то не пьян? Кто кровью пачкает?

— Кто... Ваш бригадир из бригадиров... Иди покупать к нему за рюмку водки бригадирство... Он бригаду и ударничество продает... А вы слепые, как совы. Выдвинули «лучшего»! Недаром сегодня на мель сели.

Молча одеваюсь и лечу к Домпросвету.

На пустой улице, у полотняной афиши стоит Хрупов и бьет ее головой... Осыпаются белила. Он плюется и бормочет.

Хватаю его за шиворот и дергаю на себя.

— Ты что делаешь?

— В... Веди в милицию... Мне все одно... Я жулик... рецидив...

Я его безжалостно трясусь.

— В... вой... ста... а... ал...

Хрупов смотрит мне в лицо... Глаза испуганно расширяются... Он с силой дергается, падает на ледяную панель и ползком удирает.

Догоняю.

— Ты почему пьян? Пьян почему?

— У Балаша... — Он подымает окровавленную руку и бьет ею в свою грудь. — Я прохвост... продажная шкура, был у Балаша...

Тащу эту бессмысленную тушу в общежитие. Забинтовываю порезанную руку.

— Гром... отпусти меня домой...

— Засохни... До утра никуда не уйдешь. Утром на работу. С пьяным не хочу разговаривать. Вот тебе табуретки — ложись спать.

Хрупов покорно снимает тужурку, кладет на поставленные в ряд табуретки и укладывается.

Я также возмущен и ничего не понимаю, как и Юрка. Мы потеряли чутье. Он же, по нашему мнению — лучший из лейтчиков.

Потушен свет.

Тишина.

А мне не спится, хоть руки кусай... На Хрупова падает через окно свет уличного фонаря. Он лежит темным непонятым и враждебным комом. Лежит без движения...

Где-то из незакрепленного крана в раковину падает вода... пульк... кап... кап... пульк... Звуки идут по коридору, просачиваются в комнату... Кап... кап... пульк... Точно в череп гвоздь вбивают... кап!... кап!... пульк!...

Хрупов поворачивается, под ним трещат табуретки... Слышно глухое падение тела... Напрягаю глаза... Темнота. Встать не хочется.

Мое одеяло царапают чьи-то руки.

— Гром... чш... шш... я... я... не пьян... я все...

Хрупов грузно садится на койку и дышит в самое ухо.

— Я не хотел к Балашу... Он мне одну малюсенькую стопочку... Говорит: слабая, пей, не обижай... Я не хочу пить... Я с батькой не пью... Он умаслил... Только две стопки... а потом они сами начали в меня входить... Смешно. Комод как утка топчется, а Балаш на каждое ухо...

Хрупов совсем навалился на меня.

— «Работа, сам понимаешь, выгодная. Два с полтиной штука. Надо с умом работать, чтоб расценку не сшибить. Я так: — сформирую штук шесть, парочке земельки подмажу. Мол, работа трудная, всегда брак. А ваше дурачье по 30 штук закатывает. Этак и до целкового расценку можно догнать...»

Хрупов мнет мою подушку.

— Я не хочу два с полтиной... не хочу больше водки, а

он пихает стопку и усами мочит уши: «Вмазывай к литникам земельку, чтоб ее по форме разносило. А когда от «сосунов» твоих заказ отберут, я попрошу, чтоб тебя на пару со мной работать поставили на сдельщину... понял? ..» — Зачем портить? Только сволоочь портит... а он все свое: «Э-э... Чудила... Наше дело маленькое, заработать чтобы... Работа хорошая — мешок с монетой. Брось дурь-то!» По комнате топтался комод... Я разбил руку и все безделушки на комод... А потом помню, от тебя бежал... Гром, я хочу домой... Пусти домой...

ФЕВРАЛЬ, 18

1. У литейщиков последняя отливка удачна. Двадцать восемь батарей из тридцати отформованных. Бригадира перевыбрали. Хрупов наш парень... Просто в поганые руки на один вечер попал. Дело Балаша передано в фабком...

2. Толковали с НШУ о фабзавуче: он загнул насчет коммуны. Говорит: «У нас есть начало. Я отпущу 500 рублей, устраивайтесь. Сделайте все общежитие коммуной».

— Ну, Чеби, держись, все на твою шею. Растратишь или ляпнут — я здесь не при чем. За всем не уследишь.

ФЕВРАЛЬ, 21

В общежитии запись в коммуны. Записалось 38 человек. 39-ый — «агитпоп жестяной». Она от мамыши переезжает в общежитие.

Остальные не хотят. Гонят со списком. Шмоту даже по уху смазали. Кустарями-одиночками хотят киснуть. И пусть тухнут со своими сундучками.

ФЕВРАЛЬ, 22

У Шмота обнаружены признаки стихоплетства. На бумажках черновики:

...Эх, братцы, как хочется фабзайцу
Лететь в Китай полетом пули.
Помочь парнишке смуглому китайцу,
Где, изиурясь, поднялись кули.

.
.

Паровоз лохматой гривой
Искрами фыркнет мне,
С колесною песней игривой
Скроется быстро во тьме.

.
.

Я голодранец был,
Шкетом курносый рос
.....
.....

А вот это пришлось декламировать для всех:

— Ты ведь парень складный,
Парень не отпетый.
Почему, неладный,
Прет тебя в поэты?

Засмеют девчонки,
Как узнают это.
Разве фабзайчонку
Можно стать поэтом?

Я даю ответы
Для чудных ребят:
Мол, сдаю в поэты
Пробу на разряд.

Те на это машут:
— Парень опупел,
Бросил бражку нашу,
За стихи засел.

Время зря убьешь ты,
Пользы никакой.
Где ж тебе в поэты
Шмотик, чумовой!

Шмот бегаёт и вырывает их из рук. А потом как брызнет плакать! Ну и поэт! Молодец, сукин сын.

ФЕВРАЛЬ, 26

«Кустарей-одиночек» оттеснили в задние комнаты.

В передних коммуна.

(Во какое слово смачное.)

Чеби завхоз. На пятьсот целковых всякого барахла накопил. Старые книжки и банки от сахара — в утиль-склад отправил.

Мы самоварничаем.

«Агитпоп жестяной» — зав культурой. Девчата произвели генеральную чистку комнат. Не вымывшись и не сняв спецовки, лучше не входи — заклюют (Советую, сам испытал.)

Гром проводит утреннюю зарядку. У него на столе будильник. Будит чуть свет и тащит всех в бывшую «гарбузию», превратившуюся в «зало имени шести гарбузовцев» (ах, эта другая комната, лучше бы нам жить в «гарбузии»; тут каждый гвоздь свой в доску).

— Становись!

И пошел: — «Руки за голову... Вдох... выдох...»

А там Чеби прикатывается:
— Мыться! Завтрак готов!
В ванной две кабинки с душем. Плескаемся. У дежурных столы накрыты.
(Выкусил Гром — не хуже твоего загнута.)



Юрка — работник районной «легкой кавалерии». Тетрадь осиротела. Забросил. Серьезности и солидности за месяц накопил столько, что хоть отбавляй.

— На пустяки время нечего терять. А я бы тебя на две лопатки по писанию уложил бы.

Говорит с акцентом активиста. Настоящий прокурор. И это Юрка — пронирыливое трепло — Юрка!

Что дальше будет?



Ночью кричали и плакали от любви коты. В открытую форточку врвался влажный, взволнованный ветер.

Утром сорвались сосульки и, звеня, полетели вниз.

Грица, Чеби и Юрка проснулись без будильника. Ошалело вертели головами.

— Ну и сны. . .

Чеби потрогал бороду и обрадовался.

— Ребята, бриться уже пора.

Он достал обрубок бритвы. Бритва толста, точно ее сделали из топора и куца, как заячий хвост. Наболтал в кружке мыльной пены.

— Подходи скоблиться!

Бритва, как щербатый резец, сдирает мягкий пух с лица, оставляя кровавые следы.

Шмот спит. Во сне он гогочет и что-то сосет.

Захлопали двери в других комнатах.

— Чего они так рано вскочили. Только через час задремлет будильник.

В комнатах глухо разговаривают, смеются. Кто-то выскакивает в коридор и радостно кричит:

— Весна!

Соседняя комната отозвалась хором:

— Весна!

За ней другая, третья. . .

— Весна!

— Весна!

Девчата громко декламируют:

— Идет, гудет зеленый шум. . .

Мы становимся над Шмотом, набираем воздуху и кричим во все легкие:

— Весна!

Шмот от неожиданности упал с койки, но, взглянув в окно, вскочил и запрыгал в одних трусиках по комнате, дико крича:

— Весна! Елочки зеленые, весна.

На физзарядку девчата вышли в белых трусах и майках. Выстроились и захохотали. . . Смехом заразились и мы. . . Неудержимый смех захватил все общежитие, сорвал физзарядку, мешал завтракать.

На улице гомон.

Солнце вселилось в каждую каплю. Звонкая капель буйствует, шумит, затопляет панели. Комкает бумагу, мусор, щепки и журча уносит в неумолимом потоке.

Булыжник мостовой вылез на поверхность и купается вместе с воробьями в цветистых лужах.

Нина хватает меня под руку:

— Гром, не надо на трамвае — идем пешком. . . Времени много.

Солнце в Нининых глазах, зубах, в смехе.

Теплые капли брызг серебряной чешуей садятся на щеки и мои брюки. Рваный сапог жадно чавкает теплоту луж.

— Ну чего ты смотришь? Точно в первый раз увидел. Ну да, с тобой, пешком и под руку.

Бегущие трамваи по-весеннему ярки. Они уже по-летнему мчатся с раздувшимися занавесками.

— Ты думал, что я на тебя не хочу смотреть. Рассердилась. Разлюбила. . . Ходит надутый, показывает вид, что не обращает внимания. . . Я ведь нарочно. Нам нельзя же было расползаться парочками. Все ребята были вместе. . . А теперь весна. Попробуй, удержишься.

Как хорошо бьется весной сердце.



Это сначала проносится по всем комнатам шопотом. Пугает всех, тревожит.

— Просмотрели.

— Прошляпили.

— Зекалки залепило. Вьюшками хлопали.

Ведь в Юркиных записях была сигнализация, но все внимание было обращено на другое.

Над нашей коммуной разразился первый гром весны. Общезитие закипает от ливня слов, советов, предложений.

— Чеби — наш завхоз — староста гарбузовской комнаты. . . Даже страшно выговорить. . . Задумал жениться!

— Ребята, оркестр сюда! Даешь похоронный марш.

Чеби спокоен и важен.

— Тебе девятнадцать лет только стукнуло.

— И ей столько же.

— Твоих девятнадцать и Зинкиных девятнадцать будет тридцать восемь. Маловато, Чеби.

— Хватит.

— Ты подумай только, шут гороховый, тебе придется от нас уходить.

— Не придется. Оставьте.

— Чеби, подожди года два.

— Уже поздно.

— Ну как это мы проглядели? . . Придется теперь очищать комнатку для бутафорий и вселить женатиков.

— Куда же бутафории? Черти, не могли попозже.

— Мы обождем. . . К выпуску вечер закатим.

— Наконец-то на уступки пошли.

— Ребята, пока не поздравляй их. Может раздумают. Вот лафа будет!



Белые ночи.

Ребята вечером чистятся, моются. Дома не удержишь.

Юрка притащил упирающегося Шмота. У того галстук на голой шее. Брюки по-краснофлотски выглажены под матрасом.

— Придется Шмота привязать к койке. Чтобы вы думали? Иду я по улице и вижу у ворот парочка. Заглядываю — Шмот с какой-то микробой. . . Я цапырь и сюда. Держите, а то опять убежит. Чего хорошего, тоже вздумает жениться.

Юрка привязывает рвущегося Шмота к себе, уговаривает и караулит. У Шмота горят глаза.

— На улицу. Мне надо на улицу. Доктор велел чистым воздухом дышать.

Шмот, наконец, успокоился и привязанным «заклевал» на табуретке.

На улице запели. . . Девчоночки голоса звонки и вызывают

тревогу. Юрка, забыв все на свете, отрезал от себя веревку и ринулся вниз во двор.

Шмот спокойно улизнул.



Бутафорию для постановки заготовил модельный цех. Краска высохла.

Генеральную репетицию проводим на сцене клуба.

Билеты посланы на завод и розданы в фабзавуче. Будут рабочие и все начальство. Придут батьки, мамыши и наша братва. Завтра в этом зале будет по три тысячи глаз и ушей.

— Ребята... Забыли самое главное — как называется наша постановка? Это не пьеса, не живгазета, не оперетта...

— А и правда, как же без имени?

— Назовем — «Наша жизнь».

— Старовато. Надо покрепче что-нибудь. Громкое, интригующее.

— Есть! Есть!

Бьет в ладоши Бахнина.

— Ну? .. Ну? ..

— Товарищи, сейчас весна. Она все громит, переворачивает, разносит, чистит, освежает...

— Да ты не агитируй за советскую власть. Ближе к делу.

— Тоже самое должна сделать и наша постановка. Предлагаю назвать ее: коллективная постановка... и здесь вклеить два крепких слова «Правила весны».

— А не лучше ли назвать: — «Весна в фабзавуче».

— Нет, это похоже на фокстрот «Весна в Париже».

— Итак, мы идем с весной нога в ногу и устанавливаем свои правила — правила весны.



Через ломанные ворота пролезаем ордой с гитарами, песнями и шутками в сад.

Мы с Ниной удираем от ребят в самый конец сада. Садимся на мшистую сырую скамейку и прислушиваемся.

Тяжелые, темные ветви деревьев шевелятся от напора прибывающих соков. За забором качается белый ненужный фонарь.

— Как тебе нравятся наши женатики?

— Жуть. Чеби первый поднял руки, расстаял и сдал гарбузовское оружие — свободу. Он теперь как мокрая кошка.

— А ты бы не сдал? При чем тут свобода?

— Нет, я еще хочу драться, работать... Чорт знает чего хочу натворить, хочу быть с ребятами. Ни за что не полезу в одиночку женатика. Прилипнуть, расслабнуть и киснуть... Смешно — недавно шпанил, не набрался еще серьезности и вдруг — муж.

— С последним может и я согласна, но работать он сможет и жить с ребятами будет. В этом ты не прав и вообще туман наводишь.

— Одиночка женатика умеет засасывать. Ты читала в книгах, журналах, газетах...

— А нам нужно сделать все наоборот. Мы вытащим и сюда свои правила. В жизни для этого нет ни рамок, ни шаблонов.

— А все-таки попробую Грицку отговорить.

— Попробуй.

Мы шагаем тесно, рука в руку, через кусты, через поросль сухих прошлогодних трав.

— И в жизни так же надо шагать.

— А что делать, если любишь девчонку в восемнадцать лет?

— Удирай или люби.

Оба смеются.

— Смешная штука. Об этом наверно думали ребята и несколько веков тому назад... Старики уже опытные.

— Для стариков — старое, для нас — наше. Вон как поют ребята.

— Идем петь. Нехорошо отрываться. Еще договоримся до чего-нибудь.



Хлопают двери. Клуб как губка впитывает новых людей.

В комнате отдыха у вывешенных стенгазет говор. Нами выпущен экстренный номер, посвященный вечеру.

Артисты в волнении пожирают невероятное количество леденцов, закупленных хлопотливым Грицкой для прочистки горла.

Музыканты в синих блузах с коричневыми воротничками и нарукавниками. Они садятся перед сценой и ударяют по струнам.

В атмосфере — напряженность. Зрителей настроили стенгазеты.

Из четырех дверей в зало текут человечесьи ручьи и заливают пестротой одежд стулья.

— Ребята, держись. . . Все на месте? . . Проверьте еще раз.

— Гром, посмотри, как бьется.

Нина придвигает руку к груди. Не понять — то ли у ней сердце откалывает казачка, то ли оно хочет оторваться от вен и артерий, пробить грудь, чтобы показать свое величие.

— Третий сигнал! На места! — по-морскому отдает четкие приказания Тах.

— Занавес!

Таратория передовицы проходит гладко. Она только вводит зрителя в фабзаячий мир. Колонну передовицы провожают аплодисментами. Даем сценки в мастерских и классах. . .

В жерло зала вселилось тысячеглазое притихшее животное, которое точно приготовилось к прыжку, а сейчас следит за малейшим движением впереди. Потом это животное распадается на части. Одна часть шепчется и передает в полголоса:

— Это наш мастер. У нас всегда так.

— И не ваш, а наш.

Где-то сзади глухое ворчание.

Артисты старательно изображают своих мастеров и педагогов, сидящих здесь же в зале, имитируют их голоса, движения, выходки. Что с ними творится?

Зал оглашается одобрительным смехом. Голос из гуши голов:

— Вот это в точку! Дядя Митя и никаких гвоздей.

Артист старательно проводит урок дяди Мити. Вдруг в конце зала вскакивает живой дядя Митя.

— Наглость! Безобразие. . . Я требую увольнения. Я в суд пойду!

Выкрикивает он от волнения несуряцицу. На него шикают, успокаивают. Дядя Митя взбешенный вылетает из зала. За ним подымается еще несколько фигур и демонстративно топлют к дверям.

— Что, заело?

— Давай, ребята, жару! — несется из мест, отведенных для производственников.

— Браки! Долой со сцены! — надрывается группа «сотковцев».

— Замолчите! Тише!

— Ти-ше-ша!

Артисты выжидают. Дно зала кипит, шипит, лопочет... Наконец успокаивается. Артисты продолжают играть. В перерыве все клокочет. Разговоры, ругань, смех.

Меня ловит наш мастер. Его крупная физиономия расплывается, глаза масляные, круглые. Он навеселе.

— Молодец! Я знаю, это твоя работа... Бьешь ты меня...

— Мы коллективно...

— Брось, чего там... Я все равно уйду на старый завод... Не умею с вами... Правильно делаете... Так и надо. Ты сиди, смотри, а они тебя в морду... Идем, угощу.

Он тащит в буфет и поит лимонадом.

НШУ окружили педагоги.

— Это возмутительно... Это компрометирует.

— Товарищи, при чем тут я? Вас по-одиночке, а меня за все бьют.

НШУ начинают штурмовать производственники и своими плечами отжимают меня прямо к «Тюрентию», окруженному паровозниками.

— Как изобразили — я так сам себя узнал. Это очень искусно.

«Дыр-доска» и математик забралась на сцену ругаться с Тахом. Тот отбивается и выводит их в зал.

— Не я же писал! Это их творчество.

Начинаем вторую часть. Показываем самих себя такими, какими нас сделал фабзавуч и какими мы могли бы быть.

Здесь стихи, песни, музыка. Заканчиваем приемом нас на производстве. Ударной работой. Под бурную овацию уходим живым паровозом, который скороотремонтируем.



Пора бы начаться зачетам в фабзавуче, а о них не думают. У администрации, педагогов, мастеров — тревога и беготня.

Паровозотремонтировальный завод — наш батя — прислал бригаду рабкоров для обследования.

Пришли райкомовцы.

Заседания.

Проверка учебных планов.

Юрка носится со своей «легкой кавалерией». Третий год занят ремонтом паровоза.

Первый и второй год рады временной передышке.



Юрка, захлебываясь, рассказывает.

— Крику, шуму сколько было на заседании комиссии... Человек десять снимут с работы, некоторых переводят в другие школы. Нам дадут цитовцев... Завуча и НШУ снимают с работы.

— Здорово! Кто бы мог подумать!

— Ничего не попишешь — правила весны.



Солнце влипло в стены, в окна, в утопанный двор фаб-
завуча.

У ребят десятиминутный перерыв. Они высыпают из цехов и греются на бревнах, на скамейках. Первогодники носятся по двору, поддавая деревянный обрубок вместо футбольного мяча.

Новый мастер литейки — цитовец. Он выстроил второгодников и проводит упражнения с дыханием. Мастер кузницы Палыч осиротело бродит около них, поглядывает, садится в тень на угольный ящик и отбивает счет ногой. Когда те кончают, он обращается к цитовцу:

— Кузница с литейной всегда хорошо жили. Возьми в следующий перерыв моих ребят заниматься «вдохом-выдохом», а то я не умею, испортишь им еще чего-нибудь.

— Можно. Строй только сразу же после сигнала.

Из проходной выскочил Юрка. Он возбужден, вспотел и задыхается от бега.

— Юрка!

Не слышит, скачет через три ступеньки наверх к НШУ.

Перерыв кончился. Цеха начали шуметь, стучать, визжать.

Юрка летит от НШУ с грохотом — искры брызжут из под каблучков. Ноги соскальзывают со ступенек... По ступеням скользит и считает их — спина. И так до самой последней ступеньки. Вывалявшийся Юрка морщится и трет спину.

— Кто тебя так?

— Сам... Гром, где у нас кричат?

— Кто кричит?

Юрка не слушает, прется в литейную, там берет самодельный рупор, вставляет в отдушину вентиляции и передает:

— Слу-шай! Передают паровозники! Сейчас остановятся моторы, станки, все выходи во двор! Идем в депо! Сегодня пробный пробег нашего паровоза. Ура, ребята! Ура!

Надрывается в рупор Юрка.

Литейщики первыми подхватывают.

— Ура! Ура!

Ни с того ни с сего начинают качать Юрку. Трубы вентиляции приносят глухой шум из других цехов.

Во дворе кипение — второгодники и первогодники ловят третий год и качают. Ошалелый Шмот бьет в колокол.

Ворота разинули свою пасть.

— Строиться!

Но разве удержишь? — Вырвавшиеся бегут наперегонки к ремонтному заводу.

У депо стража из паровозников. В середину не пускают.

Жоржка влезает на погнутый котел и закатывает «речу». Его не слушают, стараются заглянуть в депо.

Заводской гудок густым басом ревет обед.

— Расступись! Выводят!

Из темной утробы депо вырастает глазастый, сверкающий свежей покраской, живой, дышащий паровоз. Он украшен зеленью, флажками, бумажными цветами.

— У — гу — у! — приветствует он собравшихся и останавливается. Ребята облепили паровоз со всех сторон. Лапают и гладят его начищенные масляные части.

— Эти краны я отливал.

— Это наша поковка.

— Мы с Колькой модель делали, а потом уж литейщики и токаря. . .

— Вон наш конус!

Каждый ищет свою частицу в паровозе.

Грицка лазает под колесами с масленкой. Он еще раз просматривает и так засмотренные части. Грицка сегодня будет помогать машинисту вести паровоз.

Высыпали из мастерских производственники.

Семафор поднял руку. Путь свободен. Грицка карабкается на паровоз и дергает ручку свистка.

— У-гу-у-у! Всего хорошего-о-о!

Выплывывая пачки дыма и забрызгивая ребят свежим паром, паровоз махнул кулисами раз. . . два. . . колеса послушно завертелись. . .

Паровозники, вложив в старую песню новые слова, грянули ее и замахали с тендера кепками.

Снизу десятки кепок полетели вверх. В прискокку с выкриками ребята бегут за паровозом. А с него несется:

Машинист фабзайчонок
И помощник фабзайчонок.
Вся бригада фабзайчата,
Развеселые ребята...

Паровоз развивает скорость и скрывается за собственным дымом глотать километры пространства.



Ручейки нашего детства глились в бурную реку фабзавуча, через месяц вынесет нас в море жизни.

Через месяц нас выпускают на фабрики и заводы.

Республика получит коммунистов-ударников, мастеров, агитаторов, и, — (как ни жалко) в придачу несколько рвачей, прогульщиков и тихих мещан, процент брака твердый и здесь.

Нашу реку задерживали заостенелые шлюзы старинки. Наши воды прошли по загрязненному руслу. Мы много унесли ненужного с собой. Новые потоки будут чище.

Сейчас, захватив улицу, мы идем со своей постановкой на районную конференцию фабзавучей.

Мы очень шумны, в нас молодость — весна.

Нина с Бахминой забежали вперед. Они стоят у шеренги пахнущих тополей в новой улице и восторженно кричит:

— Смотрите, ребята, как надулись почки. Они сейчас лопнут и забрызгают нас соком...



90 коп.

